

Борис  
Крячко

БИТЫЕ  
СОБАКИ

рассказы

повести

роман

Борис Крячко  
**Битые собаки**

«Геликон Плюс»

1998

УДК 833.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)44

**Крячко Б. Ю.**

Битые собаки / Б. Ю. Крячко — «Геликон Плюс», 1998

ISBN 978-5-00098-253-2

Борис Юлианович Крячко (1930, Курская область, Красная Яруга – 1998, Эстония, Пярну) впервые заявил о себе как самобытный русский писатель в начале восьмидесятых, когда в Германии, в «Гранях», была опубликована его повесть «Битые собаки». Он был человеком классически образованным, читал на европейских языках, хотя зарабатывать на жизнь приходилось «прикладными» профессиями – судоремонтником, истопником. Не случайно, наверное, в его прозе чувствуется сближение двух мироощущений – высокого и низкого, сближение естественное, интригующее и зачастую трагикомическое. В прозе его видны этно- и географические очертания Средней Азии, Дальнего Востока, Эстонии. Но при этом сохраняется неизменная авторская сущность, сказавшаяся в языке – в семантических сдвигах, в характерном синтаксисе. Письмо его не спутать ни с чьим.

УДК 833.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)44

ISBN 978-5-00098-253-2

© Крячко Б. Ю., 1998  
© Геликон Плюс, 1998

## Содержание

Борис Крячко	6
Рассказы	9
Корни	9
Язык мой...	26
Родные и близкие	41
Катя	49
На старости лет	64
Морской пейзаж с одинокой фигурой	73
Тамарочка	82
Журналист	89
Конец ознакомительного фрагмента.	99

# **Борис Юлианович Крячко**

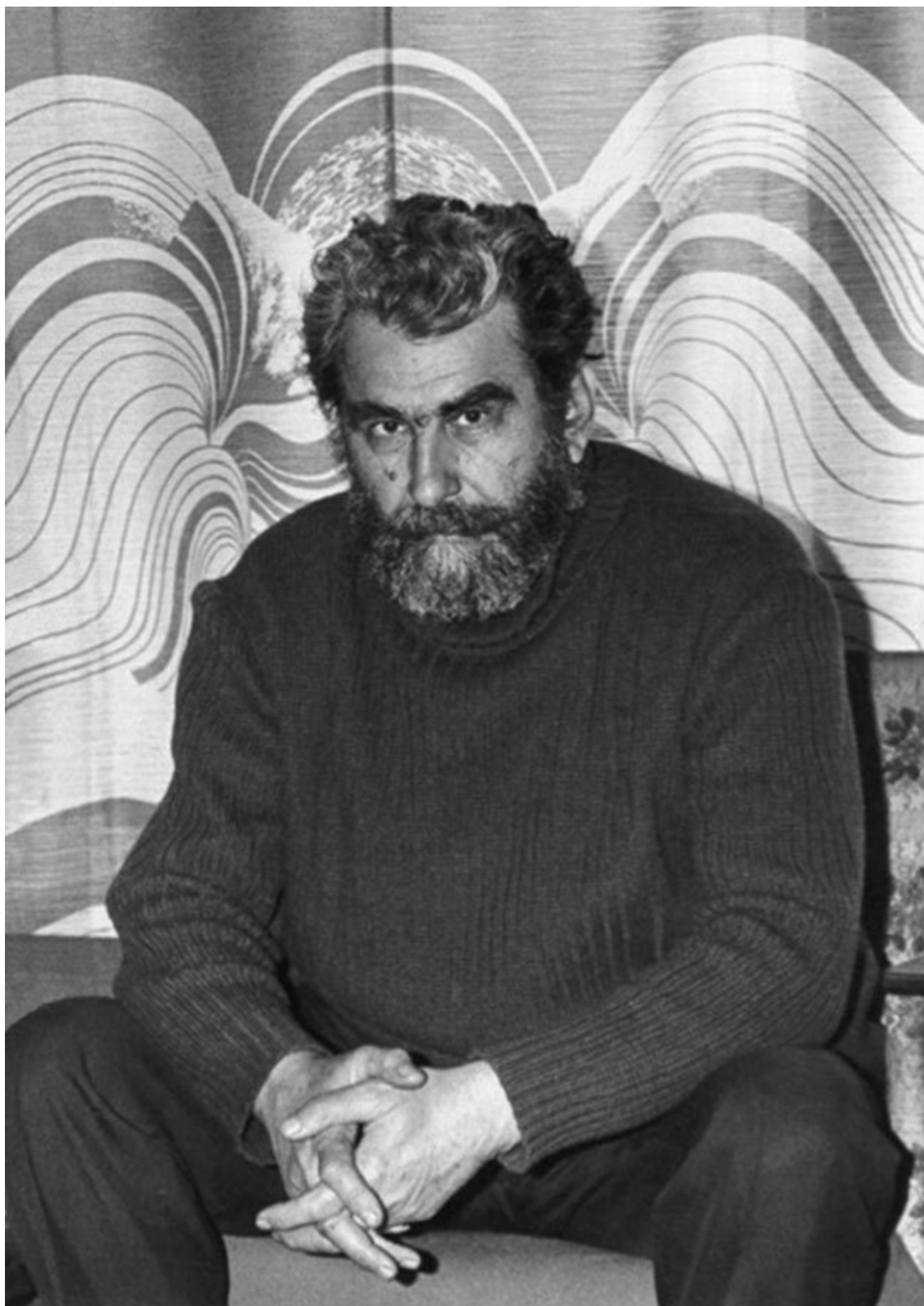
## **Битые собаки**

Составитель избранного сердечно благодарит семью Олега Юлиановича Крячко, Ирину Александровну и Анну Александровну Вознесенских за помощь в издании книги.

- © Крячко Б. (наследники), текст, 1998.
- © Быков Дм., предисловие, 2020
- © Зорин А., состав, послесловие, 2020.
- © Геликон Плюс, оформление, 2020

\* \* \*

## Борис Крячко



Советский Союз был система сложная, щелястая, и все по-настоящему интересное существовало в этих щелях, в промежутках и на стыках, где не так тотален был контроль. Оригинальный писатель мог укрыться в детской, фантастической или краеведческой прозе – жанрах маргинальных, хотя и почтенных; интересный режиссер или мыслитель мог выжить на окраине

империи, куда многие и прятались – там цензура иногда была близорука или делала скидку на национальную тематику. Художник прятался в иллюстрирование или мультипликацию. В сценаристах и журналистах отсиделся крепкий прозаик Артур Макаров, в иронической фантастике – Геннадий Головин, в мультипликацию спрятался Юло Соостер (хотя и там доставали), в Казахстане почти всю жизнь прожил Морис Симашко, укрывшийся еще и в историческую прозу; Борис Крячко (1930–1998) большую часть жизни прожил в Эстонии, где незадолго до смерти издал единственную книгу прозы «Битые собаки». Но его знали – те, кто вообще знал и ценил мастерство и оригинальность; в девяностые годы его называли в числе лучших русских прозаиков, и умер он, вероятно, накануне масштабного признания. В нулевые стали проявлять внимание и сочувствие к русскоязычным литераторам, осевшим в бывших республиках, стали их печатать в Москве, учреждать для них форумы и премии – но Крячко уже ни в чем этом не нуждался; вышла у него посмертная книга «Избранная проза», мало кем замеченная, и то не в московском издательстве, а все в том же Таллине. Сегодня имя Крячко пребывает в двойном забвении: он и при жизни был маргиналом, публиковавшимся в России исключительно в журнале «Охота и охотничье хозяйство», – а после смерти оказался слишком сложен, многоцветен и экзотичен, чтобы в страшно упрощившемся постсоветском мире вызывать интерес у читательского большинства.

И тем не менее я убежден, что его книга, включающая все главное, подготовленная стараниями его сыновей и близкого друга Александра Зорина, русского поэта, много сделавшего для памяти о Крячко, – будет востребована, прочитана и понята. Дело в том, что истощенное сегодняшнее сознание тянется ко всему яркому и темпераментному, всему нестандартному, начинается уже движение вспять от тупика, и не чувствует его разве тот, кто чувствовать не хочет. В этом смысле проза Бориса Крячко – самый нужный витамин после долгой изнуряющей зимы. Его языковое богатство и фонтантирующее словотворчество сравнимо разве что с лесковским, он великий мастер в передаче чужой речи, а собственный его голос настолько органичен и узнаваем, настолько уверен и гибок, что мало кого из современников можно поставить рядом с ним. Он сменил множество профессий и мест проживания, отыскивая те самые тайные ниши, где можно было укрыться человеку умному и самостоятельному; он был и строителем, и судоремонтником, и – как почти вся подпольная интеллигенция – котельщиком, и гидом, и искусствоведом, и все у него получалось – потому что Крячко был из породы тех почти исчезнувших русских людей, которые задуманы для великих дел, но справляются с любыми. Умелость и цепкость его чувствуются в каждой фразе: он одинаково легко управляется с любым материалом, властно побеждая его сопротивление и этим сопротивлением наслаждаясь. Его стиль упоителен и заразителен, и читатель, наделенный эмпатией, долго еще говорит и пишет с его интонациями. Крячко великолепно стилизуется и под русский сказ, и под канцелярит, и под азиатскую легенду, – думаю, рассказы его о Средней Азии могли бы посоперничать с очерками Домбровского или прозой Симашко, адекватно оцененной еще при жизни автора; но ничто не сравнится с собственным его голосом, когда он пересказывает свою жизнь или рассказывает трагические и гомерически смешные советские байки. Проза Крячко, его письма, его характер – то русское, что уцелело в советском (а вот куда оно делось после советского – вопрос, требующий отдельного и крайне сложного разговора).

Автобиографический, но полный насмешки и вымысла роман «Сцены из античной жизни» сегодня действительно смотрится как хроники античности – так глубоко погребена та реальность: худшее из нее, положим, никуда не делось, но исчезло главное – непредсказуемость, богатство, да и таких свидетелей, как Крячко, у нашей эпохи нет. В свое время эпиграфом к «Битым собакам» Крячко взял слова из протокола допроса Кюхельбекера: «Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, первый на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, подобного которому нет в Европе, по доброте и мягкосердечию, я скорбел душой, что всё это задавлено, вянет и, быть может, скоро падёт, не

принесли в мире никакого плода». Плод-то есть – русская литература, но плод этот слишком экзотичен для нынешнего пейзажа. По богатству языка и опыта, по блистательному гротеску, по знанию мирового культурного контекста я поставил бы Крячко рядом с Венедиктом Ерофеевым – и, да простят мне ревнители литературных репутаций, много выше Саши Соколова; в поздней Византии, впрочем, грядущее забвение уравнивает всех. Эту книгу стоит издать не столько для настоящего, сколько для будущего: интуиция подсказывает, что бумага может оказаться долговечней электронного носителя. Крячко по-настоящему оценят именно тогда, когда наша жизнь уж подлинно станет новой античностью; важно, чтобы его тексты дожили до этого статуса.

Я не знал его и очень об этом жалею. Мой литературный учитель, блистательный питерский поэт Нонна Слепакова встретила восторженной рецензией его первую и последнюю книгу, она много рассказывала мне об этом обаятельном и щедром человеке, обладателе идеального русского характера. Крячко был рослым бородатым красавцем, классическим богатырем, и, как всякий классический богатырь, он больше всего претерпел от людей мелких, оскорбительно незначительных. Эти люди и сегодня пытались помешать его триумфу, всячески давая понять, что его книга никому не нужна и не интересна. Но эта книга перед вами, потому что у Крячко был настоящий читатель – пусть не самый многочисленный, но исключительно преданный. Размещенная в сети коллекция его текстов – авторская страничка, включающая почти все им написанное, включая роман в письмах к жене и материалы к его биографии, – удесятирила число его поклонников: она сразу оказалась посещаемой и обсуждаемой. Вы не пожалеете, открыв эту книгу. Вы еще раз убедитесь, что русской национальной гордости – подлинной, молчаливой гордости, а не тому крикливому и кичливому суррогату, который сегодня вопит отовсюду, – есть на что опереться.

*Дмитрий Быков*

## Рассказы

### Корни

Бабушка встаёт раньше всех, часов в пять. Смочив ладони из кухонного рукомоя, она разглаживает лицо, вытирается, причёсывает волосы, и всё это быстро-быстро. Ещё быстрее мотается по стенам и потолку её тень, и я по ней догадываюсь, что бабушка делает. Ходит она мелко и неслышно, боится нас разбудить, бесшумно скользит-катается, не споткнётся, не уронит, не прогремит. Покатавшись-посновав и не сменив ночной до пят полотняной сорочки, она вдруг останавливается, и тень тоже, – сейчас молиться будет. Делает она это вслух, отчётливо выговаривая слова, а когда они изо дня в день повторяются, запомнить их несложно. Я их вытвердил до одной, не загадывая наперёд, сгодятся они мне когда-нибудь или нет.

Чередовались молитвы по порядку: «Отче наш», «Достойно», «Пресвятая Троица», а за ними начинался разговор с Богом: что было вчера, что будет сегодня, что – подай, Господи, от чего – оборони и помилуй. Слова всякий день были новые, трудно упомнить, разве что отдельные места: «Забывла Тебе вчера сказать, Господи» или «Это Ты, Господи, хорошо придумал, до ума довёл», а то ещё «Бачишь, Господи, как я боялась, так и вышло», а дальше имена, имена, имена, разные пустяки бытейские, семейно-родовые нелады Богу в уши, чтоб разобрался хорошенько и до беды не доводил. Одна такая отсебятина запомнилась крепко и надолго.

Как-то она стала просить Бога, чтоб её старшая дочь Таиска, моя, значит, тётка, не бросала мужа Ивана ради своей подруги Пашки, которая бессрамно похвально жить с Таиской лучше, чем муж с женой, людям на зависть, врагам на зло, – тут бабушкин голос звучал, как с пластинки: «Хиба ж цэ дило? Хиба ж цэ так треба, щоб ворогам та злыдням, а нэ дитям на радисть? Та звидкиля ж воны йих возьмуть, дитэй, баба вид бабы, чи що? А Ты, Божечко, усэ бачишь и ничего нэ робышь». И бабушка стала учить Бога, что делать и как: чтоб они обрыдли друг другу; чтоб их разрознить одну от другой подальше; Таиска нехай с Иваном живёт, а Пашку, розбышаку, пройдысвитку, бисову душу, выслать на край земли и пусть там, как знает.

Тётка Пашка мне и самому не нравилась. Она ловила меня за мотню и таскала, приговаривая: «Расти большой на радость маме», а потом обижалась, что я шуток не понимаю. Дядя Иван звал её «конь с яйцами». Она точно была на мужика похожа, ходила враскачку, как грузчик, кривая на один глаз, в драке выбили, самогон жрала стаканами, выражалась позорно и папиросы курила, ну, мужик-мужиком из самых что ни есть наперёд церкви отпетых. Был ли какой-нибудь прок в том, что я узнавал из бесед бабушки с Богом, трудно сказать, но с тех пор и до сих я совершенно не понимаю однополой любви, испытываю к ней чувство сильнейшего прещения и определённо знаю, кому я за эту неприязнь обязан. Что касается той молитвы, то она без внимания не осталась и была выполнена по существу нижайшего ходатайства, правда, не раньше, чем тётя Тая развелась с дядей Иваном и померли дедушка с бабушкой. После того Бог сманил Пашку большими заработками за полярный круг, где она среди суровой красоты Севера безвестно затерялась.

Вечерами бабушка норовила лечь пораньше и кратко прочитывала «Царю небесный» и «Богородица-Дева, радуйся» без каких-либо собеседований, – то ли стесняясь нас, то ли боясь надоесть Богу. Мы с братом Алькой долго оставались некрещёнными, – в те годы это было рискованно: попов за такие дела стреляли, кумовьёв гнали взашей с работы, а родителей отправляли строить каналы. По признаку отношения к вере всё в доме делилось на сознательных и несознательных. Дедушка и бабушка были, конечно, несознательными, остальные до одного сознавали, как надо отвечать, когда их о Боге спрашивают.

Дедушка молился иначе. Он подолгу мылся, брился, одевался, перекликаясь с домашними, пока, наконец, не замирал перед Оплечным Спасом, как солдат перед фельдмаршалом по стойке «смирно», и молча простаивал минут пять-семь, только в начале молитвы да в конце осенялся крестным знаменем и утвердительно кивал Богу головой. Зато он ходил в церковь, приносил просфорку, торжественно разрезал на восьмерых и каждого одаривал. На Пасху он шёл стоять всенощную и возвращался часа в четыре ночи. Войдя в дом, он так громко возвещал «Христос Воскресе», что все просыпались, заспанными голосами вразной отдачи отвечали «Воистину», и вновь становилось тихо, как в валенке, а я до того, как уснуть, успевал подумать, что утром будет красивый стол и на нём полно всякой снеди. Будить домашних в ночь под Пасху было чем-то вроде семейного обычая; наверное так же делали и прадед, которого я не захватил, и другие деды, имена которых мне внушали до седьмого по счету, а возможно, и те, кого я даже вовсе знать не обязан.

У них, гляди, и жизнь прошла, как у дедушки с бабушкой: в одном доме, в одной кровати, под одним одеялом. Я бы и сам так не прочь, да взять негде; люди переменялись, общежитие первой семьи, общественное главней личного, – сам этого не миновал. У первой моей жены была тяжёлая рука и бойцовский нор; она неделями молчала, как партизан на допросе, а дралась – я по сей день рубцы во рту языком пользую. Вторая шикарно материлась и до того любила личную жизнь, что и клялась не заикалась, и врала недорого брала, а имущество всегда за теми, кто злей, наглей, лживей и оскалистей. Сперва я оставил ложе, а следом и территорию, и это было так же естественно, как купи козу и продай козу. Я, разумеется, ничего не забыл, но свадебный пирог памятен мне и значим не больше, чем приём в пионеры или членство в МОПРе, а вот расторжение брачных уз запомнилось, как выздоровление после тяжёлой и продолжительной болезни.

Мой личный опыт. Самое ценное достояние. Трудно наживать, легко пользоваться. К нему я в первую очередь обращаюсь, и лишь когда его не хватает, прибегаю к истории, философии, искусству и литературе, где в поколениях обобщены бесчисленные множества эмпирических рядов, серий и циклов,двигающих общественную мысль. Это значит, что я ставлю личное выше общественного, а всякую отдельную жизнь и свою тоже понимаю как частный эксперимент или, если угодно, первичное накопление капитала. Первичность личного опыта и вторичность общественного для меня так же несомненна, как народная мудрость: всякий баран за свою ляжку висит. Ещё лучше об этом сказал андреевский цыган, приговорённый за разбой к повешению. «Вы уж, ваше благородие, – просит он жандармского офицера, – мыла на удавочку не пожалейте». Офицер ему: – «Не извольте беспокоиться». «Это как же мне-то не беспокоиться, – возражает цыган. – Вешать-то будут меня, а не вас». Абсолютно прав цыган. Именно так: вешать будут меня, а не Владимира Ильича.

Мне было лет пятнадцать, когда я неожиданно узнал, что бабушку зовут Александра Аникиевна. Новость потрясла меня от макушки до пяток; я долго приходил в себя и не мог сообразить, зачем ей это надо. Дедушка – другой разговор. Он фельдшер, его в станице знают и кличут – Антон Маркович, это понятно, а бабушке что за нужда? Бабушка всегда бабушка, по имени-отчеству на моём слуху её никто не называл. Дедушка называет её «стара», она его – «старый», родители зовут её «мамо», родство кто как: тётка, сваха, крёстная, но чтобы по паспорту, – я извиняюсь, чего нет, того нет.

Домашнее моё воспитание, насколько могу судить, проходило в старорежимном укладе на кратком поводе запретов и разрешений по всякому пустяку, примерно, как «цоб» и «цобё», когда волов ярмовых вправо или влево правят без каких-либо объяснений, – почему. Иногда объяснения прилагались, но меня не устраивали.

– Не бей тараканов, – говорит бабушка. – Тараканы к деньгам.

А я и не знал! Лишь теперь до меня доходит, отчего они так бедно живут да ещё в чужом доме по улице Лев Толстой, мне их жаль и я думаю: эх, тараканов бы!

– Не свисти в хате, – говорит бабушка, забыв, чему меня только что учила. – Тараканы заведутся, отбою не будет.

– Ну и пусть, – отвечаю. – Денег зато будет навалом. Дом новый купим, велосипед. Сад разведём. Разве плохо?

Некоторое время она молчит и раздумывает, но заподозрив неладное, грозит сказать дедушке, что я её не слушаю. А у дедушки разговор строже, последовательней и с прогнозом: «Если ты так-то и так-то, я тебе то-то и то-то», потому что серьёзный человек, с ним шутки через раз проходят.

– Если у тебя будет друг лях или грузин, – говорит он в подходящий для воспитания момент, – и ты приведёшь его домой, я вас обоих выгоню. Их и тато не любили.

Ну, с поляками всё ясно. У него в синодике целая толпа заупокойников и среди них Северин, «убиенный ляхами под Берестечком». Имя, конечно, толковое, при таком имени с любой девчонкой можно познакомиться, а кто такой, неизвестно. Дедушка тоже, поди, не в курсе; мало ли родства, кто жил, кто помер, записать – не вещь, а запоминать – голова не резиновая, да и кому это надо? И дедушка не знает, потому как незачем.

– Знаю, – говорит он вопреки ожиданиям. – Хорошо знаю. Наша порода, наш корень, как не знать? Мне в тринадцатом колене, тебе в пятнадцатом, – чего тут непонятно?

По моим догадкам, это он из-за Северина Пятнадцатого поляков на дух не переносит, зовёт по старинке ляхами и, когда сердится, обязательно их затронет: лядская вера, скажет, лядская душа, кому на ляд нужно... А за что грузин не любит, трудно придумать: и причин не видно, и вера православная, а получается вроде того: и ему не ко двору, и мне под страхом расправы заказано.

– А еврея? – спрашиваю.

– Жида можно, – разрешает он. – Жида люди приёмные, вспомогательные. Спаситель из жидов, Богородица, апостолы... С правильными людьми чего ж не водиться?

Жид – это прилично. Он всех евреев жидами кличет так же без охулки, как когда-то сволочью называли всё, что отстаёт или следом волочитя. Ему восьмой десяток, он долго служил то в Грузии, то в Персии, то ещё где и дослужился до старшего урядника. Потом служба ему приелась, и он попросился из линейных в госпитальные, выучился на полевого фельдшера и всю жизнь благодарил за это судьбу и начальство. Из Тебриза он привёз два красивых ковра; один раскулачили вместе с домом, а другой, поменьше, висит на стене, я под ним сплю. Знает он, конечно, не особо много, но понимает больше моего и требует, чтобы я читал ему вслух учебную историю для 10-го класса, а сам слушает и смеётся, когда я прочитываю о революционерах, которые, благодаря себя, выручили народы от сырой жизни в подвалах и без радио. По смеху я чувствую, что революционеры для него никакие не герои, а что-то навроде мошенников, и тогда между нами происходит разговор.

– Чего вам, дедушка, смешно, – говорю, – если вы их, могло быть, в глаза не видели, революционеров этих, а сами насмехаетесь.

– Сколько раз, – отвечает, – их в Тифлисе ещё до японской войны полно было.

И дальше рассказывает: идёт по улице человек в культурной шляпе, при галстукке, часы у него как сопли по животу блестят, палочкой помахивает от удовольствия на хорошей погоде и по виду, если не купец, то учёный или даже инженер. А за ним другой поспекает, то ли купец, то ли учёный, а может, инженер, но, в общем, сразу видно, что такой же культурный и на хорошей должности: в шляпе, в галстукке, при часах и с палочкой. Догнал, поднял свою палочку и ширнул первого инженера под лопатку. Тот, конечно, хлоп на тротуар, взбрыкнул правой ножкой в лаковой штиблетке и воздух из себя выпустил, а другой чинно его обошёл, чтобы не уделаться, в пролётку сел и митькой звать. А палочка у них специальная, с пружиной, с длинным лезвием, само выскакивает и заскакивает, дедушка собственными глазами повидал

в разобранном виде, а казаков, когда в город отпускали, приказывали стеречься скубентов с бомбами и революционеров с палочками, – эти никого не жалели.

– По-вашему, значит, революционеры – бандиты?

– Выходит так, – огорчительно разводит дедушка руками. – Как же мне их называть, герои, что ли? Со спины зашёл, ножиком человека проткнул прямо на улице, посреди людей. Магазины грабили, банки. Листовки печатали: пусть, мол, японцы сперва нас разобьют, а потом наша власть будет. Бандиты и есть. Ты читай, читай, что там ещё за ними числится.

Но желание читать пропадает. Я смотрю на учебник, как на бельевую вошь, и разом меняю пластинку.

– Дедушка, – говорю, – а корова раньше сколько стоила?

– Молочная, хорошая, рублей двадцать.

– Овца?

– Больше рубля никто не давал. Можно было копеек за восемьдесят, если поторговаться. Мы у курдов по полтиннику за штуку брали. Курица гривенник, утка пятиалтын, индюк или гусь к Рождеству четвертак, поросёнок на Пасху – та же цена, копейки. За пятак на ярмарке или в духане можно пообедать, за гривенник с вином. Кольцо золотое, подешевле, рубля два с полтиной.

– А кони?

– Кони дорого стоили. Пара волов в ярме рублей под тридцать, пахотная лошадь полсотни, строевая под седло до ста, но если чистой породы, с большими деньгами подходит.

– У нас лошадей сколько было?

– Восемнадцать.

– Зачем столько?

– Затем. Небось, лишнего в убыток не держали. Считаю сам: пять казаков – пять коней; ещё трое порезвей на выезд, встретить кого, проводить, надо? надо; свадьбу сыграть, на пожар послать, тройку в общий поезд поставить, детей покатавать на Троицу, на Крещение, – да мало ли. Скубент один тут был, сам в Питере учился, летом дядю Алёшку готовил поступать, так за ним рессорку посылали аж в Екатеринбург. Остальные в работе: косить, возить, молотить...

– А коров?

– Четыре.

– На восемнадцать коней четыре коровы не бедно?

– Хватало. Потом овцы, куры, гуси, сколько их было, не знаю. Ещё молотилка, крупорушка, триер, веялки, маслобойня. Паровик свой мечтали занять.

– Управлялись?

– Пораньше вставать, управишься. В косовицу рук не хватало или строить чего, – тогда нанимали. Сюда до семнадцатого года много людей приходило на заработки. А как семнадцатый ударил...

– Отобрали?

– Не сказать, совсем. Отобрали, кто революционерам поверил, а кто не поверил, тот сразу всё сбыл, пока цена. В восемнадцатом грабежи пошли: то красные, то белые, то серомалиновые, – «Давай, – кричат, – кони, скотину, фураж, теперь всё народное». «Берите, – тато говорят, Марко Петрович, – что есть, а чего нету, не прогневайтесь». Они, значит, в конюшню, по сараям, в клуню, а там лях ночевал. «Ах вы, такие-сякие, нанимать вашу мать, где хозяйство передерживаете, живо отвечай». «В запрошлые годы продали, – говорит Марко Петрович. – Нужда была, семья большая, убытки». Комиссар сердится, конём утесняет, плёткой грозит: – «Ну, дед, сильно ты умный, мы тебе это не простим. Как народную жизнь установим, то я тебя лично приеду кончать под красным знаменем». «Воля ваша, – тато говорят, – только поскорей управляйтесь, а то не доживу на вас порадоваться, годы преклонные».

Так, слово по слову, втягивается в разговор мой прадед Марк Петрович и сразу всё берет на себя, как самый главный. Его давно на свете нет, а он всё ещё по привычке командует, руководит, выговаривает, и не спорь с ним, потому что закон: кто со старшим спорит, тот говна не стоит. Хлеба он, понятно, не употребляет, питается исключительно одним почётом и живёт, где хочет: в хате, в омшаннике, на чердаке и под всякой загнёткой. Я, когда из бочки тайком мёд таскаю, крышку, бывает, снять боюсь: а что, думаю, как он там засахарился и сопит через камышину.

Редкий день без него обходится, а по праздникам в хате вообще дышать нечем: кислород выгорел и воздух состоит из густого восторга со сладким стенанием. О-о-о! это был казак, теперь таких нету. Вдохновитель и организатор. Крепость и порука. Лад и достаток. Сурьёз и благочин. Да о чём речь, когда сам генерал Гурко за руку с ним повлетался, в обе щеки облобызал и следующие произнёс слова: «Спасибо, козаче, твоему батькови». Конечно, похвала прославленного генерала из того же ряда, что и «Посцым», – сказал Суворов», и я, изо всех сил стараясь не засмеяться, интересуюсь, за что же он так исторически Марка Петровича до неба возвеличил. «Значит, было за что, – хором все отвечают. – За то, что человек, значит, хороший, Марк, то есть, Петрович. И не так собой грамотный, как учёный. Наука при нём была. Всем пример внушал: «Расти, – говорил, – умный, вырастешь мудрый». Не пил. Не курил. В карты не играл. У кого из молодых-неженатых карты найдёт, того на конюшню и собственной рукой ума вложит через задние ворота. Игруля штаны потом подберёт, утрётся и душевно возблагодарит: «Спасибо, диду, за науку». (Конечно, это для красного словца сказано, а в жизни так не бывает. Я сам в детстве был дважды порот, один раз дедушкой за обман, другой раз отцом за воровство, но чувство благодарности к науке у меня появилось не тотчас после порки, а много лет погодя, когда я сообразил, что стать вором или мошенником мне уже не светит.) «Нема за що», – отзовется Марк Петрович с лаской в голосе и, отложивши плеть, объяснит урок похорошему. «Ты мне, – скажет, – не чужой, я за тебя в ответе, чтоб люди пальцем не тюкали, когда ты до креста проиграешься. Это тебе спасибо за соображение, за способность, оно и мне работы меньше, а ежели не поумнел, не журишь: пока живой, лайдаком тебя не оставлю, дурь вышибу, умом поделюсь. Но наука уже пойдёт круче: ты это не забывай и на меня загодя не обижайся».

Поминали его при любом подходящем случае и, как правило, во множественном числе: как бы Марк Петрович посмотрели, что подумали и каково присоветовали в таком-то и таком-то разборе. Я же стал этой фигурой озадачиваться гораздо позднее, а до поры до времени жил, как свинья под дубом, и не считал себя обязанным задумываться о людях, которых ни разу в глаза не видел.

Хотя, конечно, связь между нами просматривается напрямую, и я вполне мог бы о себе сказать, что родился волею Божьей по любви и доброму согласию своих родителей, а также с дозволения Марка Петровича, прадеда моего по отцу, – без его же ведома и конь на базу не валялся, так что в автобиографии мне следовало бы поминать прадеда прежде отца-матери и непременно вторым после Господа Бога. Жили мы на Кубани в станице Новомышастовской одним домом, одним подворьем, одной семьёй, где по обычаю тот командовал, кто годами взял, поэтому рулил хозяйством не отец и даже не дед, а прадед.

Как он выглядел, не знаю, и ни на одной семейной карточке его нет, скорей всего потому, что пока фотография была в новинку, он уже набрался консерватизма и радикализма и не хотел видеть себя нигде, кроме зеркала по большим церковным праздникам. Однако мне о нём достаточно много понарасказывали, и я его себе представляю таким же подвижным и неожиданным, как отец, чуть повыше среднего роста, прямой и необрюзгший. Стрижку носил под ёжика, чтобы умывать не одно лицо, но и всю голову; седина пометила его неровно, – брови чуть тронула, усы с низу кисточкой задела, снежком по бобриковой стерне прошлась и сделала

волосы сивыми, а бороду выбелила до льняного полотна, – росла она у него как-то насуперечь, и он её то и дело оглаживал.

Человек он был занимательный и завёл в семье советские порядки задолго до советской власти. Если бы он к тому же воровал, обманывал, злоупотреблял, нерадел к хозяйству и мотался по чужим бабам, его можно бы и в партию, но он был верующий, работающий, строгий, обязательный, запросы имел проще некуда, а с понятиями о личных удобствах недалеко ушёл от первобытных привычек и после смерти жены перебрался спать из дому в конюшню, где воздух был прочкнут колдовской смесью парных конских каштанов, стойкого лошадиного пота и хмельного пойменного сена.

Он рано овдовел, но дети к тому времени повзросли и жениться ещё раз не было нужды. Сколько их у него было, сказать затрудняюсь, знаю только, что жил он с младшим своим сыном Антоном Марковичем, да ещё в станице то ли Титаровской, то ли Ивановской жил другой сын, Тарас Маркович, которого я тоже малость захватил. Характер у него был властный, деспотический и неуступчивый. Всюду он лез, всё пробовал на палец, на нюх и на язык, ложиться приказывал с солнцем, вставать с петухами, до всего ему было дело и по всякому пустяку надо было идти к нему на поклон.

Старший отцов брат, дядя Илья, когда вздумал жениться, пошёл, как и полагалось, к Марку Петровичу. «Диду, – сказал он по-украински, как все в станице тогда говорили, – хочу жениться». Марк Петрович обрадовался, аж присел. «Оце гарно! – возликовал он на весь курень. – Оце казак! Оце молодец! Сколько ж тебе, Илько, бурлаковать, – пора и за ум браться. Бесова душа, думал, помру, не дождусь». И давай хвалить дядю сверх потолка с крышей и за способности, и за мужество, и за удалство, хоть и не совсем понятно, из чего оно состояло, удалство дяди Ильи, который давно был взрослым и поступал по законам природы, а не наперекосы. Под конец Марк Петрович даже заплакал. «Илько, – позвал он, промокая слезы счастья табачно-сморкательным платком. – Илько, хлопчику, дай я тебя обниму».

Он обнял дядю, посадил вплотную к себе и некоторое время сидел с ним, как либерал с демократом. Потом спросил: «А кого брать думаешь?» Дядя Илья назвал. Марк Петрович, не жалея руки, грохнул по столешнице, сказав тихо: – «Не будет этого», – и от либерализма с демократией помину не осталось. «Это как так не будет? – совсем не испугался дядя. – Кто у нас женится, не пойму, вы или я?» «Ты, – ответил прадед. – А я при тебе тоже не без дела». «Лампу, что ли, держать в почивальне? – засмеялся дядя. – Да вы, диду, шуткарь». «Это твоё дело, чего там как держать, – несмущённо ответил Марк Петрович. – Мне, главное, чтоб ты по дурости беды не натворил». «Да какая ж беда? – удивился дядя. – Ничего, кроме детей». «Во! – потряс прадед клюкой перед носом взрослого внука. – Дети! Сам говоришь! Коли б не они («Колы б нэ воны»), стал бы я тебя на старости ублажать? Но раз для них живём, значит, надо. Ты вот не знаешь, а я знаю, что у твоей дівчины по материной родне прадед был глухонемой, так и звали, – Немкб. Его громом в степи убило, молодой ещё был, сейчас мало кто помнит. Так что ты ночью спи, а днём думай, какие у вас могут дети произойти». «И думать нечего, – упёрся дядя на своём. – Мои дети, не ваши, чего думать попусту». «Тьфу, лях тебе в печёнку, прости Господи, – расстроился прадед и заорал: – А мои правнуки! У них же наша фамилия будет. А по фамилии кто из нас старше? И мои права старше. И отвечать не тебе. Это про меня они скажут... Хотя, какой там «скажут», несчастные, глухие, немые, – на пальцах покажут: «Не хватило у дида Марка в голове десятой клёпки, знал и не отсоветовал, а нам из-за него страдать». У нас в роду никого, чтоб немой, хромой, заикастый, пропоец, умом обиженный. К нам и чёрная оспа не пристаёт, рябых тоже нет. Да мы в землю ложимся все зубы целые. Чистая кровь, здоровая порода. Ты подумай, сколько людей для тебя, дурня, это здоровье собирали! И ты за раз всё хочешь порушить? Нэ дам!»

Он вскочил враскоряк, будто полсветёлки занял: огромный, могучий, седоволосый, на него невозможно было глядеть. «Все одно женюсь», – сказал дядя Илья, не подняв головы.

«Женись, – неожиданно смирился Марк Петрович и даже приласкал упряма по плечу. – Женись, женись. Я тебе что, – мешаю? Борони Господь! Хоть сегодня свадьбу затевай. Из хозяйства, правда, ничего тебе не выделю. Не беда, наймёшься к кому. Наймиты, как все, трудом кормятся, и ты проживёшь. Со двора иди куда хочешь, лучше сразу. Попервах оно, конечно, будет стыдоба, как на тебя люди станут показывать, – ну как же! был казак, стал наймит, – но ты молодой, переживёшь, а я твоего позора, Илько, не осилю и всего больше жалею, что доброй нашей фамилии не могу тебя лишить. Достал ты меня, собачий сын, при могиле на конец житья».

Сейчас подобными речами никого не проймёшь, но в не столь давние времена словами наказывали, как батоном, так что у послушника горели уши, блуждали глаза и он готов был глухонемым позавидовать. Что значит продаться внаймы? Или отойти напрочь без движимого-недвижимого? А нравственная сторона поступка? Пойти старшим наперекор! Не получить родительского благословения! Быть изгнанным из родного дома! Статочное ли дело одному человеку столько хулы на себе понести? «Бежать отсюда, – подумает он первой же мыслью, – бежать, не оглядываясь, куда глаза, где меня никто не знает, и поскорей, чтоб до вечера ноги моей тут не было». Но опять же задача: а куда бежать со своей земли? в какие-такие палестины? Это сейчас, когда весь народ внаймах да в кочевьях, катись на все четыре стороны, а при оседлой жизни нелегко на такое было решиться, и если слово оставляли под залог в кредитных лавках, значит, оно много стоило.

Короче, дяде Илье было отчего сторать со стыда; он ещё немного подёргался и сообщил деду, мол, так и так, девчонка на четвёртом месяце и, коль скоро, жениться на ней нельзя, то что же делать? Марк Петрович сказал, что. Перво-наперво передать, что родительского благословения дяде Илье нету и не будет, а по каковой причине, про то пусть у него спрашивают, у Марка Петровича. Другое: как девка не из иногородних, а казачьего роду-племени, то отступные пусть назначают сами, – что девке за поруху, что детине на возрастание, а Марк Петрович, как главный ответчик, обязуется выплатить, а ежели помрёт раньше, чем детине семнадцать стукнет, то расчёт передаст старшему в роду и на том крест готов целовать при свидетелях и своим подписом нужную бумагу закрепить. Третье: в случае родители дивчины надумают взять дядю Илью к себе в зятя, как он есть, безземельный, бесхозяйственный и без родительской перед Богом заступы, пусть на то будет их добрая воля и общее согласие, а родная семья уже не будет считать его своим и отрекается от него на веки вечные.

На третьем пункте джентльменского соглашения дядя Илья спёкся. Он опустился на колени, как мальчик на горох, целовал дедовы руки и слёзно просил выкинуть позорный для него пункт, а дед, будучи в душе все-таки либералом, тоже расчувствовался и сделал по просьбе внука. На том дело, однако, не кончилось; родней дивчины причина была сочтена неосновательной, отношения прерваны, отступное вено с презрением отвергнуто. «Ну, Илько, держись, – предупредил его Марк Петрович. – Не захотел Бог моей опёки, пусть Он теперь Сам тебя и милует, и взыщет».

Вскоре после того пришла ночью до дому заседланная лошадь дяди Ильи без верхового и принялась ржать, чтоб пустили. Поднялась суматоха, а лошадь без человека, как признак, обозначает то же самое, что лодка с опущенными вёслами или потухший очаг, – смерть. Всадника нашли поутру в степи при дороге; он плавал в кровавой луже, но был жив, только сильно избит, и те, кто бил, дважды проткнули ему насквозь грудную клетку вилками-тройчатками. Переливать кровь тогда не умели, и дядя Илья от большой её потери чуть жизнь за любовь не отдал, но первое, что он сделал придя в себя, так это – назвал поимённо троих родных братьев своей возлюбленной.

Судоустройство в станице было на вкус и на цвет; дела разбирались либо судом присяжных из Екатеринодара, либо казачьим кругом. Присяжные действовали по законам Российской империи и всё мерили на один салтык, «повинен – неповинен», а кто такой – не суть принцип.

Казачий же круг вникал в дело со стороны именно «кто такой?», так как для своих предусматривалась одна шкала наказаний, для чужих другая. Дедушка Антон Маркович рассказывал, как это выглядит. Изловили в Красном лесу банду шесть человек, разбоем занимались, и казакишка один местный туда затесался, так его выпороли на плацу, лишили прав и выгнали из станицы, а для остальных собрали круг, вывели всех с повязанными руками на веранду атаманской конторы и спрашивают: «Что, господа казаки, будем с ними делать?», а снизу кричат: «Давай их сюда!» Ну, давай, так давай. Поставили пятерых в середине круга, толпа ненадолго сомкнулась, потом отхлынула, а на земле пять трупов лежат. В общем, самосуд. А уж куда дело передать, зависело от человека, в чьих руках находилась атаманская насечка с печатью.

На ту пору атаманил в станице второй мой прадед по бабке. Был он лет на десять помоложе Марка Петровича, фамилия у него была Остапенко, звали Аникий, а отчества не упомяну. Весь расклад случившейся бытовухи показывал ему ясней ясного передать дело на круг, тем более, что дядя Илья шёл на поправку, а уж старики догадались бы, что раз суд Божий состоялся, то человекам тут и делать нечего: никто никому не должен, обе стороны квиты, да будет мир и покой, а ежели кто из сторон этот покой нарушит, тому пригрозить переводом в иногородние со всеми вытекающими. Но деду Аникию родной внук был ближе, чем противная сторона или станичные миротворцы, и он позвал присяжных, а те присудили троих братьев к семилетней каторге и послали в Сибирь, откуда ни один из них не вернулся. Три жизни оборвалось из-за одной незадавшейся любви. Говорят, что жизнь сама по себе умней нас и в ней всегда полно смысла. В данном случае я этого не нахожу. Впрочем, я и прадеду Аникию не судья. Пока горе по чужим дворам ходит, мы все смотрим на него отстранённо и выносим правильные решения, а когда оно случается с нами, мы совсем по-иному мыслим и абсолютно других суждений придерживаемся. Наверное, мы все-таки ближе к природе, чем к цивилизации, если позволяем чувствам нашим торжествовать над рассудком, но по совести сказать, я не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю также, как дальше сложится. Казаки нынче много толкуют, что, мол, установят автономию и станут жить, как раньше: казачий круг, суд Линча и всё такое. Внутреннюю политику будет определять публичная порка, а внешнюю – право зипуна. Неохота думать, что всё это возможно.

Между тем, дядя Илья выздоровел, но о семейном благоустройстве не заикался. Уже и дядя Алексей женился, а он так бобылём и ходит. «Ты жениться думаешь?» – спросил его Марк Петрович, когда надоело ждать. «Нет», – ответил тот. «Так мы тебя сами женим». «Вам надо, вы и жените», – махнул дядя рукой и разговору конец.

Невесту сосватали добротную, породистую, из богатого двора, и посмотреть было на что. Я её звал тётя Ориша. Отгуляли свадьбу, провели ближнюю-дальнюю родню, отоспались за месяц, съели по мешку фундуковых и грецких орехов и стали понемногу привыкать, что теперь так всю жизнь будет, как вдруг молодую невестку определили во двор к летней печке стряпать на всю семью. Дальше пошла чистая литература, которая очень даже не прочь в такие места нос сунуть, где варят-парят-жарят, и обязательно подыскать чего-нибудь классического для затравки. Я самолично встречал по данной теме сюжета три идеально одинаковых и от моего разнящихся лишь тем, что там были собаки, а здесь кошка. Словом, пока невестка там что-то варила-жарила-пекла, круг печки кошка бегала, есть просила, а молодой поварихе ума, поди, не хватило съестным каким-нибудь отрывком тварь домашнюю пожалеть, и она её кипятком обдала. Кошка, конечно, взвыла и побежала зализываться, а Марк Петрович всё это слышал и наблюдал. Не откладывая, чтоб не заржавело, достал он научную свою плеть и отодрал тётю Оришу с такой беспримерной жестокостью, с какой, небось, ни скотину не бил, ни картёжников. Она, говорят, недели две страдала в скорбях телесных, а Марк Петрович тем часом, не исключено, раздумывал, стоит ли его селекция таких затрат и жертв.

Дядя Илья и тётя Ориша прожили жизнь, как кошка с собакой, родив при этом четверых детей, – здоровых, осанистых и красивых. Младший мальчик помер лет восьми, поевши кислой

капусты из цинкового ведра. Другого, Костика, убили на войне под Великими Луками, и я его помню всего по одному случаю. Мы пошли с ним к ерику за станицей, он сделал бумажный кораблик и пустил в воду. Кораблик поплыл, на него опустился мотылёк с ярким ковровым узором, – это было так красиво, что запомнилось в подробностях. Я был вне себя от счастья, воображая, как, должно быть, приятно мотыльку путешествовать столь необычным образом, о чём он, возвратясь, расскажет другим мотылькам и все будут ему завидовать. А Павлушу и Тоню я очень любил и не переставал удивляться, что оба они провели на войне без малого четыре года и – хоть бы царапина. Дядя Илья умер вскоре после войны, но не своей смертью, – его убила лошадь, ударив копытом в сердце с такой силой, что оно сразу же остановилось. Кто мог предвидеть подобный конец за день, за час, за минуту?

Блажен, кто с вечера знает, что ему утром делать, а я знаю абсолютно точно и ни разу ещё не ошибся. Из тех, о ком я рассказываю, теперь уже никого нет, одни имена остались, и единственное, что я знаю наперёд о всяком завтрашнем дне, так это то, что поочерёдно назову их имена в заупокойной с утра молитве, а их у меня, как чётки на длинной нитке. Прадеда тоже назову, – он мне очень интересен. Я давным-давно различаю его внешность и нрав среди толпы знакомых лиц, только одно смущает: он никогда не выглядит моложе шестидесяти. Тут, по-видимому, две причины: мы с ним ни разу в жизни не виделись, а те прыжки, что за ним записаны, происходили уже на склоне лет, когда ума девать некуда и характер испорчен. Здесь он на месте по праву первородства, а остальные, возможно, и приметны не все. Это нормально; рядом с ним всякий другой обязательно должен был что-то потерять и остаться за чертой. Он был ни на кого не похож, а несходство людей, кроме нрава и внешности, определяется ещё и поступками.

С ним вместе доживал свой век конь кабардинской породы по кличке Буланый, и ни одна лошадь не вызывала столько недобрых слов, как этот дряхлый, смирный, истёрший до дёсен зубы коняга. Лошадиной вины в том никакой не было, но прадед сам всех против него настроил своей каждодневной к нему привязанностью. «Коня моего поили?» «Поили, поили», – отмахивались от прадеда, как от занудной мухи. «Когда ж это успели?» «Да вместе со всеми». Марк Петрович поднимался на дыбки и устраивал разнос, потому что поить Буланого полагалось отдельно, смягчив студёную воду тёплой, непременно при этом насвистывая что-то вроде «баю-бай» и теребя рукой холку. Кормить его нужно было первой других, и сено получше, и овса побольше, а из него уже, что вкладывали, то и выходило, – зерно распаренное, непрожёванное, его куры следом расклёвывали. Прадед же по беспамятству спрашивал и забывал, и опять спрашивал об одном и том же, – нетрудно догадаться, как он всем голову заморочил. Не сказать, что никто не знал, сколько Буланому лет, но в отместку за бездельную беспечную старость ему давали больше, чем было на самом деле, а дядя Алексей, который помнил дедова кабардинца первой ещё памятью, думал, что они с дедом годки. Конечно, был он на пределе лошадиного своего возраста, никто на него в гражданскую не позавидовал, и стоял он один-одинёшенек и, наверное, думал: – «Ну что за жизнь такая! Когда же, наконец, я себя хорошо буду чувствовать?» Марк Петрович очень его жалел и не забывал ни гриву расчесать, ни сахаром побаловать или помолчать о чём в обнимку, а то подседлать в кои веки по погоде да не понукая, а лишь губами поцелуйно причмокивая, шагом, в степь, встречным надувным ветром подышать, – домашние называли это «пробздеться». Если прадеда долго не было на конюшне, конь надсадно ржал и беспокойно топтался.

Когда Буланый подох, прадед переживал больше всех. Он с Антоном Марковичем и старшими внуками выкопал коню яму за станичной балкой, выстелил сеном, положил рядом с конём седло, накрыл всё попоной и первый бросил горсть земли. Могила получилась круглая. В неё врыли шест, повесили конскую торбу с овсом. Речь Марка Петровича состояла из упрёков, похвал и просьбы. Сначала он обижался на коня, что тот его не подождал, и совсем забыл, что по Христовой вере людей с лошадьми не хоронят. Затем воздал Буланому честь и славу за

то, что тот хоть и был у него седьмым по счету, зато самым верным и разлюбезным, и Марк Петрович выполнил перед ним все, о чём договаривались, докормил до смертного часа и похоронил по правилам, то есть с седлом, сбруей и не снимая шкуры. На прощание сказал: – «Ты меня, Буланко, дождись, я скоро. Как заявлюсь, первым делом тебя найду и тогда уже вёрхи, прямо на Божий суд». Так бабушка рассказывала. Она же водила меня за балку, где Буланого закопали, но к тому времени там была ровная степь и никаких следов.

Отец был лет на пятнадцать моложе дяди Ильи и, окончив школу, поступил в педагогический техникум станицы Полтавской на том же кубанском правобережье, что и Новомышастовская, в полутора днях пешего от неё пути. Тут ещё одна есть привязка к Полтавской, – это из неё в 1825 году выселился мой прапрадед Пётр Гордиевич вместе, понятно, со многими другими семьями, чем и было положено начало Новомышастовской. А ещё прежде того, по упразднении Запорожской Сечи как «самостийной» военной организации, украинское казачество откочевало к Северному Кавказу походно-боевым порядком – куренями. Курень – понятие многозначное; так назывался дом, двор, семья, хозяйство, а ещё боевое формирование по численности близко к полку.

Каждый курень содержал в своём имени след последнего места обитания и исходный пункт долгих перемещений: Львов, Крым, Умань, Полтава, Киев, Казатин, Канев, Переяслав, – отсюда же названия самых первых станиц. При дальнейшем расселении в кубанских степях появились наименования и не столь значительных украинских местечек, и никто ничего: стоял близдиканьковский хуторок в кубанской леваде и не чаял ни сном ни духом, что придёт время и его первобытное название раскулачат вместе с домами-садами-пашнями, а сам он, потеряв признак, станет называться Пролетарским или Крупским, или Советским, или ещё каким-нибудь недоношенным словом. Уже через десяток-другой лет объявленной свободы без креста местность на карте так же трудно было узнать, как человека, переболевшего паршой и стригущим лишаем, и уж никак нельзя было определить на слух, что станица Красноармейская – она и есть бывшая Полтавская. Теперь, по прошествии, можно бы сказать, что недолго музыка играла, но это не так; долго, очень долго, куда дольше, чем жизнь средней продолжительности, три поколения подряд, – жутко подумать! – так что до полной победы совсем уже чуть-чуть оставалось: Москва да Сызрань, да Новомышастовская, да кой-чего по мелочи. Наше счастье, что страна большая; всю географию обосрать говна не хватило.

Короче, отец поехал учиться, а Марк Петрович, ожёгшись на молоке, на воду стал дуть: всё ему казалось, – вот Лёнчук снюхается там с какой-нибудь беспородной и произведут они на свет и на вечное для него поношение что-то совершенно непотребное с двумя носами и одним глазом. Для беспокойства у него, правду сказать, были все причины: отцу шёл девятнадцатый год, а у нас в саду фрукты рано поспевают. Году в десятом Марк Петрович самолично ездил в Екатеринодар устраивать другого своего внука в юнкера и обставлять его молодую жизнь кучей всяких препон и неудобств, но тогда он был помоложе и покрепче, а после семидесяти ему стало невмоготу кататься туда-сюда по чужим делам, и он сильно переживал, если кто-нибудь из молодёжи отбивался на сторону, не обзаведясь семьёй. Об этом своём дяде я за вычетом фамилии ничего не могу сказать, разве кое-что по мелочи: был он есаулом казачьих войск, служил у генерала Корнилова и уехал из Новороссийска за море – вот и все, да и того на беду с походом хватило бы, так что на всякое о нём упоминание в семье налагалось табу, в особенности при детях.

Станица Полтавская, куда уехал отец учиться и где они с мамой встретились, нам не чужая; на тамошнем погосте ещё двое наших отдыхают, – Гордий Опанасович и Опанас Батькович. А за ними большой пробел, только вдалеке где-то и в одиночестве дед Северин шаблюком помалкивает. Я был молод, глуп и глупостями занят, не догадался у Антона Марковича разузнать, а теперь спросить уже не у кого. В первую же зиму отец приехал на каникулы, и у него с дедом состоялась беседа неизвестно о чем, но уверен, что не стал бы её пересказывать до

тех пор, пока Марк Петрович не спросил отца очень кратко: – «У тэбэ дивчина е?» «Е», – ответил отец короче некуда, и с этого момента разговор пошёл живей, потому что любовь делает и жизнь интересней, и всякие о себе растабары.

Что, да как, да почему,  
Да по какому случаю,  
Кари глазочки люблю,  
Сама себя мучаю?

Вроде того: как зовут, сколько лет, откуда родом, что за семья, кто родители, почему не спросил, а кто за тебя знать должен и ещё сто вопросов по мелочёвке, а главное под конец: – «Смотри, чтоб летом в гости привёз, мы тебе не сбоку припёку, нам тоже интересно». Словом, у прадеда наметился план и сбить его со стези было сверх ожиданий. Отец уступил и на лето приехал с дивчиной, – это была наша мама. Марк Петрович не тратя времени взял её в оборот. «Родители живы-здоровы?» «Мама живы, тато померли в двадцатом году». «С какой же напасти?» «От тифа». «Божья воля, царство небесное. А где тато работал?» «В шахте. Взрывником. Бригадиром». «Пил, мабуть? Да ты, дивчинко, не стесняйся, говори, как есть. Шахтари все пьют. Такого шахтаря, чтоб не пил, и на свете не было». «Не все. Тато не пили. У нас семья – восемь детей, мама девятые, один тато работали. Дом был свой, участок, трое старших в платной гимназии учились, в магазинах кредит. Если б тато пили, мы б от нужды не выучились», – и ещё много чего. Возможно, мама глянулась-таки Марку Петровичу, но вряд ли у родителей то лето было из лучших: прадед вечно отирался поблизости и держал их под прицелом, а с заходом солнца всех разгонял спать. Папа шёл в курень к дяде Илье, который жил с семьёй отдельно, маме стелили в светлице рядом со спальней дедушки и бабушки, остальные спали, где обычно, Марк же Петрович почивал в стойле своего Буланого, который к тому времени лет уже пять, как издох. И так всё лето.

Не думаю, что родители были там преизбыточно счастливы. Верней всего, дня не чаяли, скоро ли лето кончится, и чувствовали себя, как подследственные: за каждым дозор, словом нельзя наедине перемолвиться, за руку друг друга тронуть, – что это за любовь? – а взглядом встретились, когда, поди, за станицу выехали, да и то не один раз назад оглядывались, не догоняет ли прадед с клюкой, ещё что-то у мамы спросить забыл.

После их отъезда прадед присмирел, задумался, перестал ворчать и засобирался в Новоафонский монастырь грехи замаливать. Чекмень почистил, котомку снарядил. Перед малым дитём, смиренный и грехами изнурённый, останавливался, кланялся в пояс, говорил «Прощайте», умолял не обижаться и не поминать худым словом, если кому чем не угодил, а он поимённо за всех помолится и свечку поставит перед Чудотворной. С тем и отбыл, но не в Новый Афон, а в село Боково-Платово, что неподалёку от города Луганска. Никто из маминой родни в той местности давно уже не проживал, поразъехались, но родом все были оттуда, и многие жители хорошо их знали. Там Марк Петрович снял квартиру со столом и прожил пару недель, наводя справки. Странно, поди, всё это теперь покажется.

А зря. Чего-чего, а странностей у нас и поныне хватает в каком угодно пересчёте, хоть на душу населения, хоть на единицу площади. Мы вообще люди странные и тем только замечательны, что с нами никому скучно не бывает. И селекция осталась в самом советском виде, хуже какого на свете нет. Я, когда институт заканчивал, так, помню, к нашей сокурснице жених приехал. Ну, жених, он и в Африке жених, – фигура над общим уровнем слегка приподнятая, но возражений не вызывает, а что его появление собой знаменует, всем ясно даже в Африке. Казалось бы, ничего странного: и молодые друг другу подходят по разноимённости зарядов, и исторический материализм соблюдают, и в схему развития человечества укладываются, да и предки на сей счёт недвусмысленно выразились, сказавши: «Весёлым пирком

да за свадебку». Но, понятно, не сразу, всякому торжеству подготовка предшествует. Сначала жених пошёл по кабинетам и комитетам с расспросами о так называемой наречённой и суженой: как учиться? соблюдает ли нормы социализации? какую несёт общественную нагрузку? имеет ли академзадолженности? какие читает газеты? достаточно ли активна в субботниках, воскресниках, спартакиадах и подписках на заём? посещает ли лекции о международном положении? о дружбе, любви, товариществе? об экономических проблемах в свете трудов по языкознанию?... «Нонка, – говорят ей, – дура, где ты его унюхала, неужели пойдёшь за него? Он же мудака». «Это у него работа такая ответственная, – оправдывается Нонка. – Срочно жениться приказано, а то за границу не пустят. Он про меня всё должен знать потому что». Затем, конечно, свадьба, хоть и комсомольская, а всё равно неприятно, то есть, странно, то есть, то и другое, – впрочем, кому как: иностранцам, небось, странно, а нам все-таки больше неприятно, потому что странность – это когда со стороны, но когда лично и по голове, то уже не чешется, а болит и называется по-другому. Таковы странности жизни в нашей странной стране. Это совсем уже не то, когда старики с юморком за молодых решали: «Ваш товар, наш купец, по кобылке жеребец» или когда молодёжь сама договаривалась: «Ты мне, я тебе, а дети общие». Прошли времена, теперь газеты надо читать. А если она не те газеты читает? Или вообще терпеть их не может? И пять раз зачёт по марксизму пересдавала? И на первомайскую демонстрацию не пошла по болезни, а справку потеряла, – где её теперь достанешь?... Тоже, конечно, селекция, только ещё хуже, чем у Марка Петровича, и по результатам полная безнадёга; от осла с лошадыю хоть мул может произойти, а от мула, которого советским народом зовут, ничего живого отродиться не может.

Марка Петровича так долго не было, что дома от мала до велика умилялись, как он там, в монастыре, должно быть, старательно молится, кается, исповедается, штаны, гляди, на коленях истёрлись от длительных стояний перед Неугасимой, но потом обеспокоились, – не больно на него похоже полтора месяца в грехах отчитываться, и тут, как по заявке, пилигрим заявился из паломничества: безгрешный, просветлённый, обновлённый и как бы смазанный репейным маслом. Крестом осенившись на образа, он одарил всех гостинцами, разрезал по числу душ освящённую просфорку, и в разговоре у него появилась мягкость. С того дня он уже не командовал, не ругался и ни во что не вникал, но будто покидал жизнь по однажды пройденному пути, ещё раз переживая в обратном порядке все, что не только было, но и быльём поросло, пока не достиг созерцательности пятилетнего ребёнка, чем и составил компанию своим правнукам, и уже из обрётённого состояния не выходил до конца дней. Однако на пару выходов под занавес его всё же хватило.

Когда отец приехал после зимней сессии, Марк Петрович долго на него смотрел, узнавая – не узнавая, потом спросил: «Лёнчук, а где Нина?» Отец ответил, что домой поехала, у неё тоже есть дом и родные люди, не век же ей по гостям разъезжать. Прадед молча слушал, наливаясь гневом, и вдруг треснул клюкой по столу и закричал: – «Сподманул! Сподманул, пройдисвет, девку и бросил, – га! На новом поле сеять затеял, вражий сын, – га! а там паханоперепахано, – га! пахарей до бесовой матери, а сеять нашему дурню, – га! На сорном поле, клятая твоя душа, что вырастет, – га! Репухи да очерет?»

Его гуртом принялись осаживать, а отец стал отдельно оправдываться, что не бросил, что в думках было, вот же ей-Богу, дозволения у деда просить и жениться, за тем и приехал, а через две недели они опять же съедутся и всё добром-ладом пойдёт. Некоторое время прадед бушевал в своё хотение и грозил, что не даст хорошие семена в сорное поле на выброс, но скоро дал отбой, только сказал в конце, как печать поставил: – «Сперва побачу, потом поверю». И отец понял это по-своему. То есть ничего особенного по части старческого слабоумия с ним не приключилось, просто зады человек повторял по домострою и семейному ковчегу задавал нужный курс.

Свадьбу играли летом в саду, и гостей было много. Церкви тогда уже поразоряли, венчаться было негде, и Марк Петрович самолично благословил молодых домашней иконой. Со свадьбы же у мамы осталась обида на Марка Петровича, и я долго не знал отчего, а на распросы она всегда отвечала: – «Это тебе не нужно». Но мне было известно, что нет такой обиды на свете, какую мама не в состоянии была бы простить, и не было человека, который громко сказал бы о ней какую-нибудь гадость. Правда, я тогда ещё не соображал, что простить – это одно, а забыть – совсем другое, да и христианская мораль о том же: призывая прощать врагам, она не отягощает нас непосильным обязательством предавать забвению обиды или содеянное зло, что было бы во вред и требованиям разума, и благому поступку прощения. Но я тогда не во всем разбирался, в рассуждениях частенько ставил телегу поперёд лошади и у меня крепко чесался затылок: почему такой хороший человек, как мама, столько лет обижается на такого хорошего человека, как прадедушка, давно к тому же покойного?

Дело тут, ясно, не в прадеде, с него вина, как полова с зерна, не он первый, обычай велел, сам таково женился, детей женил, внуков к семейной жизни руководствовал, все в станице делали, как он, и он поступал на других глядя, никого с краю не видел, чтоб ухватиться и опспорить круговой обычай, который за тысячу лет ни разу не нарушился. А что значит обычай? Тот же закон, только закон меняется, а обычай нет, да ещё одна есть о нём примета: закон хоть и писан, но не всякому дано знать, а обычай писать труда не стоит, – в нём рождались, с ним жили, по нему умом размышляли: жени сына по первоцвету и девку за него бери честную, потому как известно-говорят: «Девка честная – мать честная». «Эпиталама» Антона Григорьевича о том же.

Слава Нерону, невеста непорочна,  
Как невинные очи и как светлое чело.  
Счастья, счастья, блаженства новобрачным...

Короче, не мы этот обычай заводили, и возраст у него не тысяча лет, а куда больше. Правда, невдомёк, за что Нерону слава, а Не-Весте одно замужество, но шут с ним, с Нероном, он император, ему что весталка, что гетера, а нам как Не-Весту определить в её натуральной цельнокупности – вот задача. На Нерона полагаться себе дороже, на светлом челе Не-Весты ничего не написано, не пальцем же проверять, если на то пошло.

Потому и заглядывают спозаранку к молодожёнам в постель: есть на простынях кровь – есть чем гордиться; чистое бельё – срочно что-нибудь от позора придумывай, лучше всего, конечно, курице топором голову оттяпать и ложе новобрачных слегка внатруску покропить, – анализ, чай, снимать не будут. Да оно и не без того, потому как молодые не всегда своего часа дожидаются, но раз уж дело слажено любовно, то и беда невелика.

После того всё это безобразие надо гостям показать, сопровождая демонстрацию охами, вздохами и причитаниями: «Бог радоваться велел, смотрите, гости дорогие, улажайтесь нашим счастьем, радуйтесь нашей радости», а гости и родство долго будут восторгаться шедевром нерукотворного абстракционизма и встретят молодых церковной песней «Гряди, гряди, голубица» да затем станут шумно возглашать здравицы «за молодое вино сего числа распчатое»; кричать «Скрыни не треба», что значит, приданого не нужно, оно, дескать, при невесте оказалось; одаривать молодых подарками и прибаутками, – «Вот вам деньги на недоуздок, а коня купите сами» вплоть до битья посуды на счастье с громкими пожеланиями «коханья и доли».

Между тем свекровь устраивается на всеобщем виду и затевает парадную стирку испачканного барахла, да не абы как скорей поспеть, а тщательно, с роздыхом, не торопясь, чтоб все видели, – девка-то цельная, без порухи. А когда бельё сохнуть будет и плескаться на веревке, вернётся свекровь к столу, и все заметят, вскочат, закричат: «Свашенька, дорогэсэнька, да где

ж ты ходишь, хай ёму грэць, у нас без тебя и во рту сухо, и веселья чёрт-ма, сидай с нами да рюмку пригубь, руки, мабуть, заморила, пока отстиралась, кровящи-то поглядеть, как с разбоя, прости Господи...» Она сядет и рюмку пригубит, и впервые почувствует себя вознаграждённой, – ну как же, тридцать лет что ни день до первой невестки семью обстирывала, не разгибаясь, и никто не замечал, а тут пара простыней на раз плюнуть и – всем угодила.

Если даже невеста в девках была, как говорится, слаба на передок и по причине сердечной доброты никому отказать не могла, ей тоже в семейном счастье не отказывали, и свадьба катилась своим чередом, разве что бельё разглядывали с избытком воображения и множеством намёков, жалея в душе зарезанную хохлатку, да «Гряди, гряди» не пели, – «Какая, – говорили, – голубица, когда раньше голубя бывалая».

Уже на моей жизни свадебный ритуал здорово изменился: гости в тесноте да не в обиде за единым столом помещались, самодеятельность выдохлась, как вишнёвая наливка, что заткнуть забыли, от «Голубицы» вообще слова запомнили, но, главное, бельё перестали показывать в тех видах, что половая жизнь начиналась лет с двенадцати и на цельных девок к выданью большой замечался неурожай, да и кур по дворам становилось всё меньше и меньше. Хотя обычай до конца не пропал, и если дома ему в месте было отказано, так он и на улицу не постеснялся. Такая вскоре появилась мода: после брачной ночи, как всегда, ходили молодожёны по родственникам, и молодая супруга при этом держала в руке флажок цвета кумача и надясь утраченного целомудрия, что называется, и опыт нажила, и невинность соблюла. Это понятно; объевшись сладким, всегда хочется чего-нибудь попроще, а скромность никогда никого так не украшала, как блядей и большевиков. Вот уж действительно, сочетались сладострастие и целомудрие браком законным, и родилось у них дитя – ложь. Такая вот грустная история: Таня + Ваня = любовь. Так и ходят с флажком. По сей день. Премудрость же о чётной девке и честной матери вышла из обихода сразу после войны, и об этом остались одни воспоминания.

На другой день родителей затемно подняли в баню, столы же накрыли не в саду, а в доме, и когда папа с мамой вернулись, громада уже успела опохмелиться и встретила их «Голубицей» с таким рвением, что уши закладывало и крыша над домом, казалось, вот-вот сорвётся. Едва хорал закончили, Марк Петрович велел всем налить до краёв и сказал папе: «А теперь, Лёнчук, дай нам посмотреть, как ты молодую жену любишь», потому что на кубанских свадьбах в те годы не кричали «Горько!», а выражались только так. Родители целовались, а их славословили, хвалили, величали по заведённому распорядку, но маме было непривычно, и она тихонько спросила у отца: «Что это они нас? На царство, что ли, венчают?» Он ответил, и мама расплакалась. И чем безутешней она плакала, тем пуще веселилась ватага крепко выпивших и не особо понятливых людей.

Наверное, сложнее всего разбираться в недоразумениях между человеком и обществом, и я, по совести, не знаю, кто тут прав, кто виноват, но думаю, что мама в тот момент чувствовала обиду и стыд с потрясающим ощущением наготы и одиночества, невзирая на присутствие отца. Я себя тоже чувствовал бы подобным образом, случись такое со мной. Что касается прадеда, то он остался, по-видимому, без меры доволен и записал в синодик маминых родителей: Иваненко Кузьму Григорьевича за упокой и Ирину Трифоновну урождённую Беликову за здоровье, а я, благодаря ему, знаю теперь своих предков также и по женской линии до четвёртого колена. Помимо того, Марк Петрович выказал отменное знакомство с маминной генеалогией в пределах, разумеется, настоящего продлённого времени, когда перечислил на пальцах её сродников, никого не пропустив, и просил кланяться в Боково-Платово каким-то Сидоренкам, которые вообще доводились нашему тыну двоюродным плетнём. Маму это до такой степени удивило, что она перестала плакать, а домашние пораскрыли рты, наперегонки догадываясь, что наш пострел везде поспел.

Окрутив родителей, прадед имел с дедушкой Антоном Марковичем последний нешуточный разговор. Старик нюхом чуял погоду лет на десять вперёд и загодя выискивал гавань,

чтобы уберечь команду, если семейный ковчег потерпит кораблекрушение в бурном море бытейском. Сказал же он по отрывочным воспоминаниям дедушки примерно так: «Анчихрист надвигается и пробудет долго. Церкви пограбили, а проедятся, людей начнут грабить, земли лишать, хозяйства, из хат своих выгонять, – разбой пойдёт. Я, слава Богу, скоро помру, управляйся без меня. Ну, землю с постройками куда денешь? – нехай пользуются, а что другое распродай до напёрстка. За ценой не гонись, но бумажкам не верь, монету бери в звоне, чтоб над ней ни власть не стояла, ни сырость, ни пожар. Скарб в одних руках не держи, раздели, где по душам, где по семьям. И живей поворачивайся; времени у тебя – хорошо, если год. Будут гроши – будут харчи, а при харчах и в клуне проживёте. Власть лайдаки себе заберут и будут царствовать на кровях, на голоде и на воровстве, а кто не подчинится, тому не жить. Вы с ними не спорьте, во всем соглашайтесь, ихней дурости потакайте, чтоб самим не пропасть, но веры им давать нельзя, потому как лайдаки, они во всем лайдаки, и кто им верит, тот жалобно плачет. Да ещё чтоб накрепко разумели: враг страшен, а Бог милостив, и нашему роду нет перевода».

С делами Антон Маркович управился споро или, как потом стали говорить, досрочно. Из хозяйства, восстановленного после гражданской войны, оставил всего две коровы, да и тех поделил: одну себе, другую дяде Илье. Дом и коров, конечно, забрали, когда раскулачивали, землю – тоже. Ковчег таки пошёл ко дну, но на нём был очень надёжный капитан и из экипажа при кораблекрушении никто не пострадал, все благополучно выбрались на какой ни есть берег.

Марк Петрович умер месяца через полтора после свадьбы. Он как раз играл с двоюродным моим братом Павлушей, сыном того самого дяди Ильи, которого прадед так неудачно женил. Тот скакал верхом на подсолнухе, а подсолнух был схвачен петлёй и вздет на шею, чтобы руки оставались свободными для джигитовки. Старый, между тем, готовил малому полосы препятствий тоже из подсолнухов, и Павлуша не столько их саблём рубил, сколько конём топтал, как вдруг конь развязался. Пока Марк Петрович налаживал новую петельку, мальчишке расхотелось играть и он объявил: «Спать хóчу». «Я тоже», – сказал прадед. Они устроились во дворе на завалинке, притулившись друг к другу, и, обласканные сентябрьским солнцем, крепко уснули, один на полчаса, другой насовсем.

Разве так умирают? Так переходят из одного помещения в другое или, на худой конец, меняют место жительства. Да и о смерти ли речь? Как все верующие люди, я верую в спасительное участие Господа Бога в жизни и в бессмертие души, но моя вера столь же незамысловата и бесхитростна, как у моего прадеда, который до последнего был уверен, что предстанет перед Судом Божиим не иначе как на буланом коне, и уже там, спешившись, преклонит колени.

Этак помирать каждый бы согласился. Прошёл бы я, скажем, тоннель, на простор выбрался, глядь! – да это же сызмалу знакомая мне местность: лес с высоченными дубами, степь с султанчиками ковыля, много тепла и света и всадник неподалёку рукой машет: сюда! сюда! И начался бы долгий разговор между своими людьми.

Сначала я бы сказал Марку Петровичу: так, мол, и так, война с ляхами кончилась. Был у меня знакомый поляк, Володя Ясиновский. Мы с ним студентами целый год в одной комнате жили и за год слова неправды друг другу не сказали. Сами знаете, кем он мне доводится, – есть такая степень душевного родства.

А с грузинами не получилось. Ездил я туда к ним, искал Моурави и никого не нашёл. Нас вообще за дураков держат и говорят, будто Пётр Первый тоже грузин, – так уж получилось, что Наталью Кирилловну не Алексей Михайлович обработал, а грузинский посол, потому и ребёнок получился такой способный.

Может, мне не повезло? Ну, хоть бы один на бедность. Я бы его в общий знаменатель вынес и покрыл бы им чужие глупости и свои огорчения. По теории мне известно, что плохих народов нет, есть плохие люди, но, к сожалению, практика этого не подтвердила, а Руставели,

Казбеги, Ниношвили и Табидзе давно померли и личным опытом уже никого не обогатят, так как достать его можно только у современников.

А тут ещё времена. Марку Петровичу просторно жилось на свете, а сегодня на каждого тогдашнего восемь теперешних, – земля прогибается. Это как если бы в нашей позанадышней семье не двадцать человек было, а сто шестьдесят при том же хозяйстве. Проще сказать, не живём, а в жизнь играем и правила игры строгие: убей, обмани, соблазни, укради. Особенно, укради. Ох, крадут! – вор у вора, сторож у сторожа. Но тоже, небось, до поры до времени. Вот поднакопится ещё столько людей и украсть будет нечего. Как дальше сложится, не предвижу, но на лучшее не надеюсь, а в переселение людей на морское дно или к созвездию Гончих Псов я не верю; это, по-моему, пустая байка и ерунда на постном масле.

Тот хлопчик, что от дяди Ильи, – я его видел, когда после сессии на каникулы приезжал; нормальный, ладный мужик, заметно старше Павлуши, ему теперь лет будет под восемьдесят, если живой. А вот девчонка у него, диду, ваша правда, глухонемая. Нас с ней познакомили, и она мне сразу же понравилась, но я забыл, как её звали; у глухонемых имя не признак, и окликать их не приходится. Мне давно глухонемые нравятся, с ними и дружить хорошо. Я видел, как ловко они через окно в поезде разговаривают. Нормальные, те надсаживаются, суетятся, вопят, а они пальцами повертели и через стекло договорились. Сейчас, возможно, это самые доброкачественные в стране люди: остальные с вывихами, с комплексами, с придуриью, один больше, другой меньше, только и всего.

А дом наш, диду, стоит. Всё там же по улице Северной, такой же могущественный и поместительный, как раньше, и каждое его бревно вы, говорят, обстучали и проверили, и всё внутри и снаружи вам памятно и ведомо. Дворовых построек не сохранилось, один он, сирота. Чего в нём только не было: правление колхоза, церковь, клуб для танцев, сельхозтехника, товарный склад. Года три тому, когда я навещался в станицу, там детский сад размещался. «Вам чего?», – спросила женщина в белом, то ли воспитательница, то ли заведующая. Я ответил, что смотрю на свой дом, из которого выгнали мою родню, когда раскулачивали. Она сердито на меня похмурилась и ушла. Это понятно, что всякому вору трудно сознаваться в воровстве и возвращать краденое. Но вы, диду, как в воду глядели, когда предупреждали, что новая власть воровская, и это правда. Конечно, вор вору рознь; обыкновенного вора, когда он чересчур хапнет, совесть слегка щиплет за душу, и он тогда ради собственного спокойствия малую только краденое возвращает и называется уже не вором, а спонсором, благотворителем, альтруистом-бессеребрянником и прочими наградными понятиями, но советский вор на порядок выше и никому никогда ничего не возвращал.

Вскоре после войны, году где-то в сорок седьмом, все мужчины нашего роду-племени, кто живой с войны вернулся, собрались скопом и написали письмо Сталину, – бабушка называла его не иначе, как Милостивец. Сейчас я об этом вспоминаю со смехом и ужасом: дедушка, папа, дядья и двоюродные братья, до десятка взрослых людей, ссылаясь на фронтовые подвиги, пересчитывая в общей свалке награды и величая Милостивца отцом родным, просили вернуть раскулаченный курень, – ни больше, ни меньше. Самого письма я не читал, но по рассказам оно выглядит глупым и унижительным. Нашли, кого просить! Это же придумать такое: десять нормальных мужиков, чохом рехнувшись, сами легли под топор и семьи положили.

Бабушка была в отчаянии. Она всех называла «скаженными», а Антона Марковича старым дурнем, просила хоть детей пожалеть, если себя не жалко, а кому жить опротивело, тот нехай в Краснодар едет и под поезд ложится, – так меньше беды. Милостивец тогда был ещё жив; бабушка называла его блядским сыном и осыпала древними проклятиями, причисляя отца народов то к ляхам, то к сатане. Она просила детей и внуков не будить лихо, пока оно тихо; она осенялась перед иконами и клялась, что ногой не ступит в собственный дом; она могла бы сама там помереть, если б мужчины не отступились. Дедушка вошёл в рассудок первым и бросил письмо в печь.

А оно было совсем готово: заклеено, адресовано, маркировано, а на марках Милостивец с девочкой Мамлакат. Оставалось только на почту отнести. Когда я вживаюсь в тот тесный момент, необратимость времени пропадает, и я чувствую, как у меня опускаются внутренности, и подкожный страх, подобно грязной чесотке, расползается по телу. Тот самый, что мне с малых лет внушили Родина, Партия и Милостивец, и который вряд ли удастся изжить до конца дней. Прощай, дом предков. Наверное, и моя нога не ступит под твою кровлю, но с тобой жива память, и я тебе за неё обязан.

Я родился в селе Красная Яруга Курской области в тридцатом году, что значит, четыре года спустя после смерти Марка Петровича, и моё рождение совпадает с его кончиной день в день, десятого сентября.

## **Язык мой...** **биографическая проза**

Хутор оказался больше, чем я себе его вообразил. Место он занимал возвышенное и не весь просматривался, но в видимой его части можно было насчитать до тридцати дворов, причём каждый двор стоял на особицу, не образуя ни улицы, ни проулка, и тем единственно отличался от села или слободы, что не имел общего плана застройки. Окрестный ландшафт очень холмист, и избы, начинаясь с самой низины, поднимались на взлобок, переваливали по другую сторону крутояра и скрывались в лесу. Тут проходила лесостепная зона, и лес чередовался с пашней, вздымаясь и вытягиваясь по горам, подолам широченными зелёными полосами.

Таким затерянным деревням и выселкам в России несть числа, и места их нахождения ориентировочно указаны в фольклоре, – сиречь либо у чёрта на куличках, либо там, куда Макар телят не гонял. От хутора до райцентра около двенадцати вёрст, а это, почитай, километров пятнадцать будет, и лёгким на ногу хуторянам приходилось больше ходить, чем ездить. От райцентра до железнодорожной станции километров наберётся близко к сотне; туда люди правились в тряских тракторных прицепах летом за день, зимой за ночь, а во время весеннего паводка реки Хопра на барже с буксиром по лесу, моля Бога не застрять надолго промеж деревьями.

Нечему удивляться: только-только закончилась война, и у сельских жителей ещё не сложилось понятие об автобусе или о грейдере, так что обижаться на жизнь, а тем более, упаси Бог, на правительство, им и в голову не приходило. Хуторяне народ оседлый, нелюбопытный, верующий в приметы и сомневающийся в прогрессе. Мало есть на свете такого, что их касалось бы и чем их можно бы расшевелить, да они и сами не горели узнать, что в газетах пишут, что по радио передают, и верны ли новости, будто повезли свинью до волости. Известия поважней доходили своим чередом: о смерти Ленина здесь узнали на четвёртый день, Сталина несудом помянули на третий, а о победе над германцем каким-то поветрием стало известно уже на другой.

Тот, кого нелёгкая занесла сюда впервые и более менее надолго, быстро набирался ума и уже через неделю по совести мог сказать, что советская власть за все годы и пятилетки, сколько их там было, не отметилась на хуторе ни единым признаком: ни начальной школой, ни мелочной лавкой, ни детскими яслями, ни курсами ликбеза, ни фельдшерско-акушерским пунктом, ни избой-читальней, ни лампочкой Ильича, ни почтовым ящиком, ни телеграфным столбом, какой показан даже в учебниках для умственно отсталых детей, чтоб разбирались: это вот – корова, а это, ребятки, телеграфный столб, который тем только от коровы и отличается, что рогов нет и мычать не умеет.

Образ жизни местные люди вели самый растительный: экономя керосин, ложились спать с курами, вставали с петухами, рожали по старинке детей, не одного – много двух, а сколько Бог пошлёт; справляли загульные свадьбы с ядрёными и обязательными драками на зорьке под утро, пили на поминках за усопшего, пока водка не выходила слезами, бабки-повитухи отнюдь не перевелись и были в большом авторитете, а о человеке, побывавшем в Москве, говорили, что ему теперь и помирать вакáн. А вокруг глухая нетронутая тишина. Редко-редко белёсым комариком гудел в небе самолёт, – жители тогда бросали работу и провожали его долгим взглядом, задрав головы до хруста шейных позвонков, а детвора читала стишки, выученные в школе ближайшей станицы, о милом маленьком лётчике, – они так и начинались:

«Мой милый, мой маленький лётчик...»

А дальше слова, от которых сердце заходится, и глаза туман застит:

«Возьми меня лётчик с собою,  
Я в небо хочу улететь».

Но то дети. Взрослые же никуда не собирались, жили-поживали, лежнем лёжа, сиднем сидя, на пошиб Ильи Муромца, да только-то и мечтали дотянуть до преклонных лет никому не в обузу и упокоиться на хуторском погосте. Но даже столь скудное счастье давалось не всем и не каждому, а кому как повезёт. Если вести из чужедальных краёв шли на хутор со скоростью «улита едет, когда-то будет», то обратная связь работала, как часы, и во внешний мир информация с хутора поступала не иначе, как самолётом. Стоило местному казачишке вечер распевку сыграть:

Сидит Ленин на телеге,  
А телега без колёс.  
«Ты куда, плешивый, едешь?» —  
«Леквизировать овёс!», —

а утром его уже не было дома, и с того дня никаких от него приветов никому. Большая страна Россия, но душу земли за глаза всем хватит, даже ещё останется, но ты прежде подумай, отчего оно так выходит, и что за чудеса в решетке: место, хоть «караул» кричи, никто не услышит, а вот поди ж ты! – покуражился человек с пьяных глаз, и поминай, как звали.

Не трудно догадаться, что начальство на хутор ни в праздник, ни в будень, ни в кои веки, ни одной ногой. Набольший руководитель, какого в хуторе видели, это председатель колхоза, да и то не раз на раз, а по случаю, потому как правление колхозное в станице Букановской расположено километрах в семи. Лишь единожды отметили в здешней, забытой Богом дыре явление народу районного военкома со товарищи в сорок первом году в конце июня месяца. То-то их понаехало! – две легковушки и одна полуторка, да все в комсоставских ремнях, в петлицах с кубарями-шпалами, при наганах, со стариками сперва под козырёк, а после и за руку, не то что в старорежимные времена.

К тому дню про войну знали на хуторе стар и млад. Мужички, само собой, готовились, что не сегодня-завтра придут по их душу, а иные себе на уме собирались в бега по закоренелой привычке с гражданской ещё войны. Для того, гляди, и военных понавезли, чтоб не все с перепугу разбежались кто куда, о том же и военком гуторил. Он первой всех выступил и стал хуторян успокаивать, что-де мобилизуют мужской пол ненадолго, от силы месяца на три-четыре, это с походом хватит немцам в задницу фитиля вставить и салазки в-обрат завернуть, откуда пришли, так что к октябрьским праздникам все до одного дома будут, нехай женщины не плачут и не разводят сырость, а считают дни и готовят вишнёвку позабористей. Ещё сказал мобилизованным, чтоб не огружались домашними пирогами и ватными подштанниками, потому как негоже красноармейцу допускать перегруз строевой выправки и поворачиваться в бою, как тюха-митюха, а это обозначает «прощай, Маруся, дорогая, лежу с разбитой головой».

Особо было сказано, что нынешняя война больше для немца, чем для нас, и мы на неё идём с дорогой душой и лёгким сердцем, кубыть на бесплатную экскурсию за казённый кошт: что проезд, что трёхразовый приварок, что медобслуга, и совсем не след женщинам волноваться, вроде того, убить могут или там покалечить, – у нас народа на десять Германий достанет, куды им против нас, да мы их, дербень-калуга, за пару месяцев переколошматим, попадись они нам. Под конец военком всем велел разойтись по домам подзаправиться, взять ложку, миску, кружку, харчей надвое суток, чтоб до станции не отощать, а построение назначил через три часа, и пешим порядком в райцентр, где машины стоят заготовленные, и так дальше до станции Себряково.

К назначенному времени собрались казачки, как было велено, а им устроили переключку по вручённым повесткам, и больше десятка душ недосчитались, но по военному времени дожидаться не стали, а построились да пошли, и пока с горочки спускались, песню по команде затащили такими дохлыми голосами – только в психатаку ходить.

Нам задачи боевые  
Надо помнить навсегда, Настасья!  
Эх, самолёты,  
Даёшь пулемёты,  
Даёшь батарэ-эй,  
Чтоб было веселей!

И каждый сам себя жалел, словно предчувствовал, что их больше на экскурсии останется, чем в хутор возвратится, и они как бы самих себя подбадривали, только у них это плохо получалось.

Кожух, кожур, рама,  
Шатун с мотылём,  
Возвратная пружина,  
Приёмник с ползуном!

Доколь хутор был на виду, они все пели советскую строевую «трынды-муде-балалайка», не особо вникая в смысл, а душой завидовали тем, кто догадался огородами в лес уйти, но скрывали свою зависть боевой песней, с ноги не сбиваясь:

Раз! Два! Три!  
«Максим» накати!  
Подносчик, дай патроны,  
Наводчик, наводи!  
Эх, самолёты... и т. д.

Тех, что не захотели на экскурсию ехать, с первого дня прозвали дезертирами, да они и сами от прозвища не отрекались, не находя в нём ничего зазорного. А в лесу жить летом вполне терпимо: сырость в землянке не шибко донимает, погода костей не ломит, свежий воздух, грибы-ягоды-орехи, домашние харчи, и бояться некого: не было тогда у властей резерва лес прочесать да обложить предателей Родины, как волков в загоне. Короче, жили они вольготно и безопасно: в светлое время суток только тем и занимались, что сном да голодом, а ночью расходились по домам – с семьёй перевидеться, по хозяйству чего-чего сделать, чаю самоварного с липовым цветом да с сотовым мёдом попить в охотку, а спозаранок на всякий случай опять же в лес. Потом пришли немцы, и дезертиры в открытую вернулись в хутор.

Но это только сказать, – пришли, мол, немцы. Придти-то они пришли, только никто на хуторе их в глаза не видел. Почему? – кто ж их поймёт, но вполне могло статься, что на немецких двухвёрстках оный хутор был показан белым пятном с пометкой «терра инкогнита», что значит «пойдёшь – не вернёшься», и немцы решили не рисковать, держась подальше от беды, поближе к Сталинградской железной дороге. Весной сорок третьего года над хуторским советом заново подняли красный флаг, и дезертиры снова подались в лес, где худо-бедно продержались до сорок четвёртого, когда им, наконец-то, перекрыли ходы-выходы и перестреляли, оставив одного то ли напоказ, то ли на расплод. Такие серьёзные дела творились в захудалом

донском хуторе, где власть ничем, кроме куска кумача, для людей не поступилась и никаким добрым делом не обозначилась.

Природа исправила недоработку руководящих центральных органов, создав чудовищное непотребство и сделав его хронологически, экологически и социально явлением абсолютно советским. Холм, на котором вальяжно разместился хутор, от подошвы и едва ли не до вершины разрезал глубокий длинный овраг, напрашивавшийся на сравнение с дантевской преисподней. Старики тоже объясняли его появление не иначе как Господним наказанием, поскольку начался он в роковом тысяча девятьсот семнадцатом году малой гусиной канавкой, но с каждым годом, подобно прожорливой гусенице, съедал значительный кусок холма, забирая остриём атаки всё выше и выше. К середине столетия люди уже могли показать рукой на чёрный провал в земле и оправдаться перед историей: «Как так, ничего нового? А это вам что?!»

Подобные перемены без последствий не обходятся. Самое ощутимое неудобство овраг причинил населению тем, что занял самолучшее место, где в годы столыпинской реакции пролегла хоть и просёлочная, но устойчивая дорога, и по ней можно было безбоязненно ездить, то понукая лошадь, то сдерживая. Когда образовалось ущелье, дорогу пришлось переносить год от года всё дальше в сторону, отчего она сделалась менее крутой и более неудобной, – её в прямом смысле перекособочило. Поднимаясь по ней, я оценил мудрый совет поэта не ходить по косогору во избежание стоптать обувь и сбить в кровь ноги, но у меня не было выбора, и я терпеливо хромал до верхотуры.

У двух подвыпивших трактористов выбор был, но они не пожелали ехать в объезд и попёрли напропалую при дифференте близко к тридцати градусам. На какой-то выбоине трактор качнулся, опрокинулся и, перекатываясь с боку на бок, упал в овраг, встав, как ни в чём не бывало, на все четыре колеса, а люди удивлялись и спрашивали, каким разом и за каким хреном он туда заехал. Так он на дне оврага и стоял, пока его не разобрали по частям и не сложили заново в тогдашнем эмтеэсе, и ничего с ним не сделалось: и пахал, и сеял, и косил, и всё такое, а трактористов похоронили по православному обряду с соблюдением девятидневки, сороковин и годовых поминок. Люди по той дороге налегке, конечно, ходили, и за ними интересно было наблюдать, как они, поднимаясь и спускаясь, припадают то на одну ногу, то на другую, а гужевого транспорт и технические средства, особенно возы с сеном или с какой громоздкой поклажей, у которых сильно смещался центр тяжести даже при небольшом перекосе, должны были давать крюк и въезжать в хутор поодаль оврага.

Так-то оно так, то я-то какой напастью в тех местах очутился? Что за нужда погнала меня за сто вёрст киселя хлебать? Это был особый случай, вполне оправданный поговоркой «охота пуще неволи». Я был влюблён очертя голову и находился за пределами обычного благоразумия. Меня еле-еле хватило, чтобы выдержать студенческое правило: сдал сопромат, можешь жениться. Сопромата на курсе не было, вместо него была теоретическая грамматика английского языка, вещь неудобоваримая, муторная и на засыпку. А я её сдал и мог себе позволить всё, что мне хотелось. К тому времени я настолько сдвинулся по фазе, что меня зашкалило, и мне захотелось отныне и вовек не разлучаться с моей избранницей ни на год, ни на месяц, ни на неделю, ни на единый день, а в гражданском обществе такое бывает возможно лишь при одном обязательном условии. В общем, я ехал жениться. Невеста моя родом была из этого хутора и жила у дедушки Матвея Павловича, чей дом стоял на самом юру метрах в двухстах от надвигающегося оврага.

Само собой, первое дело – свадьба. Длилась она около недели, и её почтил весь хутор с традиционным набором обычаев и обрядов. Из гостей в особенности запомнились двое: столетний дед Ульянов Иванович, бывший скобелевский служивый, – он сидел отдельно, жаловался на загубленное здоровье и норовил попасть в рот чаркой, чтобы не пролить. Другим был уцелевший дезертир Федот, крепкий ладный мужик с буйным чубом навывпуск, – к нему относи-

лись с подчёркнутым уважением как к человеку, прошедшему не только дезертирство, но и штрафбат.

Это из-за него однажды поднялся сыр-бор: будь, мол, знатьё, что все, кто с войны не вернулся, загинул на чужбине незнамо где, так шли бы лучше в дезертиры, им-то уж повезло, как мало кому: и похоронены дома, и могилки проведать завсегда доступно, и миром на кладбище сходить во второе пасхальное воскресенье, что помянуть, что поплакать, что у креста красное яичко оставить. Повезло людям, ой, как повезло, сподобил Бог в родных местах упокоиться, надо же такое счастье... Вдовы бабы голосили навзрыд и соглашались: правда, правда, уж повезло, так повезло, что там говорить, когда правда истинная. Моя милая тёща Пелагея Никифоровна тоже слезами не без причины обливалась: её муж, а мой, стало быть, тесть Герасим Матвеевич Павлов без вести пропал в сорок втором году.

Хутор, откуда я себе жену взял, прозывался Ожогин. Не могу сказать, почему Ожогин или кто такой Ожогин, но место известное, и вы его наверняка знаете, если вам доводилось «Тихий Дон» читать. Здесь чоновцы в двадцатых годах вырубил банду Фомина, из которой уцелело всего пятеро, в их числе известный вам Григорий Пантелеевич Мелехов. Место это скорбное так по сей день и зовётся: Фоминки.

В моей памяти послевоенные годы живы больше звуками, нежели какими-нибудь иными признаками, – я их к попутным, побочным, вторичным и не более того, так как главным был всё-таки шум. Время побед минуло, наступила черед парадов и праздников, а уж это дело громкое, по-другому нельзя. Нормы жизни переменялись: прежде мы жили, так сказать, от победы к победе, а затем стали жить от праздника к празднику. Шумовых эффектов было задействовано предостаточно, и если праздник даже сменялся буднем, шумихи не убывало, потому как на смену одному источнику звуков приходил другой. Фанфары, салюты, кантаты, денежная реформа, лозунги, химеры, судебные процессы, всеобщий энтузиазм, остервенелый патриотизм, снижение цен, борьба с космополитами, с журналами «Звезда» и «Ленинград», с американцами, с евреями, с крымскими татарами, с приверженцами академика Марра – такие события под сурдинку не проходят. В особенности надрывались громкоговорители; висели они чуть ли не на каждом столбе, – галдёж от них поднимался обложной и беспросветный с шести утра до полуночи. Насчёт поговорить на улице – я извиняюсь, там надо было кричать, и шуму становилось ещё больше. Старики, конечно, глохли и хватались за сердце, но молодёжь радовалась точно так же, как впоследствии принимала на ура рокеров по тяжмету и, чем громче редела «металлическая» эстрада, тем пуще бесились в партере.

По-видимому, это неспроста, а так надо было, чтоб народ поменьше языком трепал и ещё меньше мозгами шевелил, поскольку мышление – работа интеллектуальная и шумовых помех не терпит. Со стороны это покажется невероятным, но газеты тоже исходили воплями: все полосы были забиты перечислением организаций, учреждений и лиц, поздравивших товарища Сталина с семидесятым днём рождения. Само собой разумеется, читать передовицу «Правды» по радио бесстрастно и невнимательно было бы опасно для здоровья, а подтрунивать над мукомольным комбинатом имени Вождя и того опасней. Но хуже всего было обмолвиться, а ввиду того, что всякое слово чревато двусмыслием, отвечать головой приходилось не только подвыпившему ожогинскому хуторянину, но и секретарю обкома, провозгласившему общепринятую тогда здравицу с трибуны очередного партсъезда: – «Да здравствует товарищ Сталин, великий вождь всего угнетённого человечества!» Секретаря, недолго думая, прислонили к стенке за контрреволюцию, а лозунг нашли вполне приличным и годным к употреблению, но «угнетённое человечество» заменили «прогрессивным», – так оно точней и без кривотолков.

Благодаря личному вмешательству Генералиссимуса в вопросы языкознания русский язык заметно оскудел. Писать и выступать официально в присутствии других людей считалось занятием многотрудным и рискованным. Цензура зверствовала всюю, но исключить из языка

оговорки и иносказания ей не удалось, а в некоторых случаях подобные оплошности даже в начёт не выносились.

В самый разгар праздничных послевоенных лет подвизался на всесоюзном радио спортивный обозреватель Вадим Синявский. Сейчас это имя мало кто помнит, а полвека тому назад только-то разговору было: Синявский да Синявский, да опять же Синявский. Чтобы дать вам представление о его чрезвычайной популярности, скажу как самовидец: городские столбы с громкоговорителями были излюбленным местом сборищ в тех редких случаях, когда по радио шли рассказы Чехова в прочтении Ильинского или Тарханова; когда выступали остряжки-самоучки Штепсель и Тарапунька, а ещё когда транслировали футбольные матчи в трактовке Синявского. Так вот: если судить о рейтинге по количеству слушателей, что, впрочем, совершенно справедливо, пальму первенства придётся вручить Синявскому, который собирал десятикратно против всех остальных гужом.

Телевизоры тогда были в диковинку, и репортёру с художественной жилкой не составляло труда застолбить одуревшего от пропаганды гражданина, залучить его к репродуктору и заставить слушать подробности спортивного состязания разиня рот. Футбол, к счастью, как и ядерная физика, которую Вождь мстительно обзывал «ядрёной физикой», сохранял малую толику независимости, что позволяло спортивному комментатору гнать правду-матку с футбольного поприща в прямой неподцензурный эфир. Это считалось неслыханно наглым вызовом всей практике социальных преобразований и, по мнению компетентных лиц, не лезло ни в какие ворота, тогда как простолуды оценивали положение короче и верней: ни бзднуть, ни пёрднуть. Согласно приметам времени, Синявский был обречён, и умные люди предсказывали с абсолютной уверенностью, что ему несдобровать, как и горшку, что по воду повадился.

А он, между тем, работал, и хоть бы хны. Риск, бесспорно, был, и гарантировать ему неподсудность не смогла бы ни одна цыганская сивилла, поскольку репортажи с места событий вёл честный человек, большой профессионал и мастер устного слова, причём вёл их не так от ума, как от сердца, подавая события в цвете, образе и динамике, что не только влекло к нему слушателей, но и ставило его благополучие под удар. Да он и сам лез на рожон, как тот, у кого чувства заявляют поперёд ума нерасторжимой связью слов и явлений, а заодно и в разрез с большой продуманной ложью партийной политики.

В одной из передач Синявский, войдя в раж и сняв, по обыкновению, самоконтроль с предохранителя, публично объявил на всю страну победившего социализма такое, от чего воздержался бы любой мало-мальски благоразумный совок. Всесоюзное радио исправно разнесло по одной шестой части земли крепкий мат в предельно сжатой и выразительной форме с теми же интонациями отчаяния и стыда, с какими обманутый русский муж повторил Синявского слово в слово, когда узнал, что жена родила негритёнка. Радиоболельщики поняли всё, как надо: команда ЦДКА дико проигрывала, и только что ей воткнули номерного шара. В то время дикторы пользовались иностранными заимствованиями: голкипер, хавбек, рефери, корнер, но чем было заменить родимую матерщинку – ахти нам!

Иосиф Виссарионович по своему положению считался самым сведущим человеком в государстве и знал решительно всё. Могло статься, что он слышал репортаж собственными ушами, а если нет, то ему наверняка донесли о состоявшемся позорище и, затаив дыхание, ждали, чьи головы полетят первыми. Так или иначе, товарищ Сталин был в курсе, что любимая команда первой в мире рабоче-крестьянской республики вчистую продула матч с югославами, уронила спортивный престиж страны и скомпрометировала его как Лучшего Друга Футболистов. Настроение Великого Рулевого, окормлявшего Великую Державу, резко пошло вниз, и он вызвал на кремлёвский ковёр председателя Комитета по делам физкультуры и спорта, который предстал перед Отцом Народов с достолюбезным поспешанием и с заметной дрожью конечностей и поджилков. Выслушав доклад, товарищ Сталин попытлел трубкой и согласился с пред-

ложением первого физкультурника Союза лишить команду почётных званий, дисквалифицировать и разогнать.

Что касалось разгильдяя Синявского, Корифей Экономических, Философских, Филологических и Прочих Наук решительно не согласился с мнением предкома по спорту наказывать пресловутого сквернословя публично и построже, дабы другим неповадно, и, попыхтев трубкой, спросил напрямик: – «За што?» Главный спортсмен ничего вразумительного сказать не мог, и вместо него опять же ответил товарищ Сталин, для которого не существовало вопросов, на какие он не смог бы ответить: – «Чалвэк бил агарчён и расстроин. Я тоже бил агарчён и расстроин. Ми с ним балели за адну каманду. Это очень аправдательный фактор. А ви за какую каманду балели? Только нэ будым гаварить, што ви тоже балели за ЦДКА. Ви за титовцов балели». Под председателем комитета подломились ноги, и он рухнул на ковёр. Набежавшей в мгновение ока медобслуге Иосиф Виссарионович объяснил причину обморока: – «Вот как биваит, кагда чалвэк нэтэрит критику. Ми её тэрим, а он, видитэ ли, нэ может». В итоге Синявский отделался тем, что его велено было до поры, до времени не пускать к микрофону, – только и всего.

Но при всём том Гениальнейший Стратег Истории, затмивший Своими Десятью Ударами все победы Александра, Ганнибала, Цезаря, Суворова и Наполеона, имел основания подозревать, что верные ему кадры могут перестараться, и потому предостерёг собинного друга Лаврентия Павловича строго-настрога: помянутого хулигана Синявского избирательных прав не лишать, дело на рассмотрение ОСО не передавать, несчастных случаев и автокатастроф не устраивать, и даже не увольнять с работы, – пусть живёт и пасётся на свою трудовую среднемесячную.

Такова одна из легенд, которыми в своё время был окружён тот, чьё имя подменяли эвфемизмами, гиперболами, благозвучием и тому подобными аппликациями. Я не ратую, будто всё обстояло доподлинно так, как изложено, и отдаю себе полный отчёт, что в устном коллективном мифотворчестве невозможно отыскать ни автора, кто первый сказал «а», ни соавторов, на чью долю пришлось остальные буквы кириллицы, и авторство по праву остаётся за народом. Здесь важна не протокольная истина, а художественное правдоподобие, вероятность развития событий и реальность фактов, положенных в основу мифа, со злым умыслом заставить людей думать «Се человек» о величайшем изверге человеческого рода.

Нелишне при этом отметить непреложность реалий, составляющих опорные узлы композиции, жизненность характеров, выдерживающих проверку сомнением и критикой, натуральность интриги и развязку в духе судов царя Соломона. Формула построения легенд и анекдотов не выходит за пределы четырёх арифметических действий. Так от сочетания целомудрия и сладострастия рождается лицемерие. Точно так же из смешной небылицы за вычетом иронической фантазии получается уродливая совдеятельность, как исходный материал для анекдота. А если грубую реальность подправить теорией социализма, произойдёт легенда, в которую кой-кому захочется поверить. Жаль, что автор «Сталиниады» Ю. Боров не включил расхожую выдумку в свой сборник с целью её развенчания. Для меня же в данном эпизоде всего важнее история в пространстве нашего отечества и география во времени нашего прошлого, когда за случайное, вскользь брошенное слово с людей снимали головы. Оттого и повторяю молитвенно вслед преподобному Нестору: – «Еже ея где буду описах или переписах, или недописах, чтите и не клените».

А за что клясть? Что тут неправды на-выдержку? Нешто не о России сказано, что вначале было Слово, а коммунисты за него людей стали лицом к стенке ставить. Или не по-нашенски выглядит, когда язык говорил, а с жопы спрос. Всё это наше, родимое и по сей день на живой памяти, как бельмо на глазу.

По ходу повествования есть смысл упомянуть, что вместе с женой мне досталась также и тёща. Имея опыт и будучи ещё дважды после того женат, я совершенно в душе уверен, что Пелагея Никифоровна самая лучшая моя тёща. Сирота с малых лет, она выросла у чужих людей и была человеком на редкость беззлобным, уступчивым, терпеливым, тихим и приветливым, а вовне всё это оборачивалось мудростью и добротой. Со временем я понял, что это нормально, и всякий добрый человек вполне может возместить недостаток собственного ума и развития за счёт сердечности и простоты, а человеку злобному ничего не помогает: ни образование, ни наука с культурой, ни руководящая должность, и он выглядит дурак дураком, не способным скрыть свою глупость даже от подчинённых.

Один мой знакомый этнограф удивлялся, что русский народ не сложил о тёщах ни одной приличной песни, зато вульгаризировал этот образ до таких крайностей, что и рассказывать совестно, лучше спеть:

Ой, сад-виноград, зелёная роща,  
Ой, кто ж виноват, жена или тёща?  
Тёща ви-и-но-ва-та-я!

Мне это тоже удивительно, и я на закате жизни прихожу к убеждению, что наш народ бывает, мягко говоря, не всегда пьян, да умён, но зачастую изумляет мир несусветной глупостью, беспримерной жестокостью, закоренелой привычкой жить не по правде, стоеросовым упрямством и нежеланием а́з в глаза видеть.

Я отправился в лес по ягоды, а их тем летом уродилось – земли не видать. Сначала я спустился по тыльной стороне холма в низину и почувствовал, как резко переменялся микроклимат: от земли потянуло сыростью, воздух был напоён влагой, из лесу, к которому хутор пододвинулся впритык и вглубь, навевало прелью прошлогодней листвы. Здесь были огородные делянки, где выращивали капусту, огурцы и помидоры, а в самом логу бил сильный ключ, – из него хуторяне брали воду для полива и для дома, и её всем хватало; она была прозрачна, необычайно вкусна и страсть какая холодная: от неё ломило зубы, и пить её приспособивались маленькими глотками, чтобы дать ей хоть немного во рту согреться.

Переступив через родниковый ручей, такой же неказистый, как исток Волги, я вошёл в зелёный сумрак леса и пошагал на подъём, куда кривая выведет. Кривая вывела меня к дому. Он ещё из-за стволов едва проглядывал, а уже было видно, что дом давным-давно заброшен, и никто в нём не живёт: дверь и оконные наличники крест-накрест заколочены досками, на сгнившей кровле рос бурьян и кустарник, а двор угадывался по истлевшим деревянным доскам от хозяйственных построек, по обилию древесной трухи и прочего хлама. Таким он предстал перед глазами: неожиданный, скорбный и зывающий к помощи.

Покинутое жилище очень быстро ветшает, и первая о нём мысль сродни соболезнаванию по покойному, – вот, мол, незадача! – пока жили в доме люди, и он глядел гоголем: из трубы дымок шёл, из окон по вечерам свет керосиновой лампы пробивался, кудахтали куры, мычала корова, заливалась собачка лаем и жизнь шла по всеобщему закону взаимности: жильцы смотрели за домом, а дом спасал их и всякую живность от холода, от непогоды и от злых людей. Но однажды хозяева покинули насиженное место, и всё пошло прахом: дом захирел, хлев развалился, курятник упал, а что с собачкой случилось? По всем приметам тут произошло что-то большое и непредвиденное, а что? Горе ли, беда ли, но какая? – беда беде рознь. Мальчик палец занозил – тоже беда, а тут, видать, жизнь целой семьи зараз обрушилась. Хватило ли у них мочи-духу опомниться да на ноги встать, да горе превозмочь, да в другом месте житье наладить? И где оно есть, другое место? – далеко? близко? И каково им там живётся, если они живы? Что за срочность за такая в один день всё нажитое кинуть и уйти куда глаза? Столько всего разного в душу прибилося, и растревожило, и взволновало, и отозвалось в причинном

месте острой калёной болью, от которой свет меркнет и на ум догадка просится, – уж не там ли у наших прародителей вместо детородных инструментов органы совести находились. А что? – личный опыт подсказывает, что очень возможно, и тогда, значит, прости, Господи, рабу твоему Чарльзу его научные заблуждения по части эволюционной теории о происхождении видов.

Я тогда ещё не вышел из физического состояния первоцвета, находясь в сладком плену собственных ощущений и миражей. Мне думалось, что медовый месяц никогда не кончится, что жизнь моя устроилась наилучшим образом по существу и подобию свадебных хуторских распевов с перерывами на завтрак, обед и ужин.

Ничего мне на свете не надо,  
Только слышать тебя, милый мой,  
Только видеть твои голубые глазки,  
Любоваться твоей красотой.

Во всеобщее счастье я не верил, коммунистическую доктрину считал мировым надувательством и не представлял, как построить бесклассовое общество даже с двумя людьми, один из которых хочет работать, а другой не хочет. Капитализм мне тоже не нравился, но тут я вполне доверял Марксу, что все миллионные состояния нажиты самым преступным образом, а те, кто разводит тары-бары насчёт плохого капитализма и хорошего коммунизма, просто-напросто хотят въехать в рай на чужом горбу. Однако я очень верил в личное счастье и даже знал счастливых людей, а теперь, выходит, и сам таким сделался. Самочувствие, в каком я пребывал, до того было ощутимо, до того вещественно и неизменно, что я себя чувствовал не одним из, а самым что ни на есть. Доведись тогда кому-нибудь прочитывать мне стихи любимого моего поэта:

Я жить хочу, хочу печали.  
Любви и счастья назло...—

я бы ответил, что это удел гения и добрая воля Михаила Юрьевича, привыкшего поступать «рассудку вопреки, наперекор стихиям», а я человек обыкновенный и самому себе отнюдь не враг.

Сложить такие стихи в скверном расположении духа ещё куда ни шло, но желать себе страданий, лишений, неудач и приключений на собственную задницу в мои планы не входило, потому как бороться и противостоять жизненным невздам – это одно, а наклеивать их себе на голову – совсем другое. Я же был совершенно счастлив, а это чувство мало того, что порабощает, так ещё и чужой беды не терпит поблизости. Мне удалось его осмыслить, когда я не захотел поменять свою птицу счастья на чьи бы то ни было невзгоды и горести. Напрасный труд разубеждать человека, если он сам себя убедил.

Я отряхнулся от попутных раздумий, как это делает мокрая собака, просвистел фривольный мотивчик и продолжил поход к Фоминкам по землянику. Разве ж я предвидел, что всё, от чего я так легко открестился, вернётся ко мне со временем и ляжет на душу, как грех на совесть, и память потянет меня, как преступника к месту злодеяния, где я был один-единственный раз. Конечно, речь о жизни и смерти, – разве есть что-нибудь важнее того? – но о жизни столь краткой и нечаянной, что её и жизнью не назовёшь, и о смерти до того зловещей и не имеющей очертаний своей огромности, что вряд ли у кого достанет отваги поднять глаза и посмотреть ей в лицо. Нет, это не вражеский танк, под гусеницы которого вам надлежит лечь с гранатой, «положив душу за други своя», и не пулемётная амбразура, которую вам остаётся только животом и грудью заткнуть, здесь категории совсем иного порядка, где патриотизм и самопожертвование с глубоким осознанием, что на миру и смерть красна, в данном случае

попросту неприложимы. Тут даже сказать нечего, разве что подумать: не доведи Бог такой судьбы ни дорогому человеку, ни злейшему врагу.

Я быстро набрал две корчаги душистой земляники и, придя домой, невнимательно спросил тещу, что за дом в лесу у криницы. – «Ой! – запричитала она, выронив постирушку в воду и схватившись за голову мокрыми руками. – Ой! Да ты чего туда пошёл? Кто тебя туда идтить надоумил? Господи, ну что я за дура, – не остерегла. Думать думала, а сказать часу не было. Ты туда больше не ходи. Это место жуткое: что проклятое, что заклятое. Такого жуткого места во всей округе нету. Хуторских туда силом никого не затянешь». – И принялась рассказывать, но я слушал с пятого на десятое и запомнил только всхлипы голоса да всплески рук: – «Это чего ж изделали, аделы, чего сотворили! Да в жисть не поверят, ежели кому пожалиться! Иде ишшо такое видано на белом свете!»

С тех горестных сетований Пелагеи Нифировны, её перепуганных глаз и конвульсивного движения рук, которые она не знала, куда девать, события оживают в памяти, паузы между ними заполняются смыслом, и невероятная эта история становится действительностью, хотя нормальному человеку принять её на веру так же сложно, как рассказы о вурдалаках. Времени с тех пор прошло не так много, чтобы не найти живых очевидцев, но и не так мало, чтобы обелить правых, воздать должное виновным, приговорив их к покаянию и чистосердечному признанию, чтобы высветить жизнь-бытьё наших предков в третьем колене, сиречь около шестидесяти лет тому назад.

Мой знакомый поэт Василий Афанасьевич Лыба плодотворно разрабатывал антирелигиозную тему и время от времени выступал в печати. Мне помнится концовка его дивного стихотворения о Пасхе Господней, опубликованного в газете ещё до войны:

Вопрос политики всем ясен:  
Живём в эпоху светлых дней.  
Так нужно ль слушать чуждых басен,  
Дорогу тормозящих к ней?

Тут налицо пара неясностей, прежде всего, насчёт дороги, тормозить которую не только невмогуту, но и бесполезно, а во-вторых, вопрос: к кому «к ней»? К эпохе? К политике? К басне? К дороге, наконец? Словом, некоторая недоговорённость. Зато каков лад! Какова непринуждённость строк! а стиль! а рифма! На фоне столь высоких атрибутов и достоинств можно пренебречь даже смыслом, легко и бездумно напевая стихи на мотив «Шаланды, полные кефали».

Мне же из помянутых виршей занудилось клише «эпоха светлых дней» как идеологическая заморочка насчёт довоенной нашей жизни, что-де лежали мы на печи, вкушая калачи. Это, конечно, не совсем так, а говоря точнее, совсем не так. Мне, собственно, довоенная пора припоминается, как жизнь впроголодь, когда наиболее постоянным ощущением было маниакальное желание чего-нибудь перекусить, перехватить, пожевать, поесть, потому что мы, сельская детвора зоны Центрального Черноземья, редко наедались досыта. Причина довольно основательная для оправдания дичайших наших поступков, и Россия во многом повторяла Древнюю Спарту, где воровство сходило за удалство.

Мы зорили птичьи гнёзда, выгребая из них свежие яйца; выкапывали какие-то дикорастущие клубеньки и коренья, вкус которых я помню по сей день, а названия забыл; горстями жрали вкусный сладкий паслён, считавшийся ядовитым; обносили сады, не давая фруктам созреть; совершали набеги на колхозные баштаны, не дожидаясь, пока арбузы хоть маломало покраснеют; и грязный кусок рафинада был знаковым символом счастливого детства в эпоху светлых дней. Наши безнравственность и жестокость диктовались естественным отбо-

ром, и смысл жизни мы постигали в борьбе за выживание. Мне тогда было около десяти лет, я уже кое-что соображал малым своим умом, и у меня хватало причин считать довоенное житьё-бытьё полуголодным прозябанием в духе популярной песни «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы».

Но это ещё печки-лавочки, до настоящего голода дело ещё не дошло. Знаете, что такое настоящий полноценный голод? Тот самый, что в книгах принято называть шестью словами вместо одного: «длительным отсутствием важнейших продуктов повседневного питания». Как видите, ничего особенного. Надо всего лишь заменить повседневный продукт на вторичный эрзац, и вопрос решён без остатка. Мне довелось пережить несколько голодных лет: тридцать второй год, который я по своей малости не запомнил, сорок шестой год и, если не ошибаюсь, шестьдесят второй, когда мы – лиха беда начало! – стали покупать хлеб за границей. Но самыми страшными и голодными были, по-моему, первые два года войны.

Сейчас не все ещё очевидцы перемерли из тех, кто пережил голод военных лет и на себе испытал, почём фунт лиха. Хуже всего, что это жуткое и немыслимое состояние было вызвано политическими мерами и призывом, прокатившимся молотильным катком по целой стране: «Всё для фронта, всё для победы!» Тогда правду редко говорили в открытую, но это была чистая правда, хотя и недосказанная, потому как, ежели спросить: «А что же тылу?», ответ заявит о себе сам: «Шиш с маком. А в случае, люди передохнут на корню, это их забота». В общем, история повторялась, только в прежние времена о русском народе говорили короче и проще: «Ён достанет». Неудивительно, что голод свалился вместе с войной, как снег на голову, и с непреложностью тождества: «Всё для фронта = ничего для тыла».

Как же она выглядела, тыловая жизнь? Ну, ворон ели и пальцы облизывали, это нормально. Годились кошки и собаки в качестве диетического питания; их целебным мясом пользовались туберкулёзники, и кожь скоро чахотка в стране прирастала, собак и кошек становилось меньше, – это объяснимо в порядке вещей. Вместо зерна мололи жёлуди, корьё и лебеду. Из мёрзлого картофеля пекли оладьи; из конопляной и подсолнечной макухи варили мутную похлёбку по имени затируха; из разлагающейся сахарной свёклы готовили солодуху, некое подобие компота, вызывавшее столь сильное отвращение, что уже после первого глотка хотелось предложить эту гадость тому, кто тебе больше всех насолил.

Попадались, правда, и зажиточные куркули, у кого на ужин ставилась большая сковорода с жареными подсолнечными семечками, и они, затворившись наглухо и погасив свет, вечеряли, сплёвывая шелуху на пол. Редко-редко случались свадебные застолья, очень слабо напоминавшие пир во время чумы; ради сего торжества обыкновенно приготавливали ведра три самогона и столько же вёдер тернового киселя. Овощные очистки и обрезки тоже не пропадали, – их жарили на танковом солидоле. Кухня этого изысканного блюда довольно проста: сперва прожаривались хорошенько вымытые овощные отбросы, именуемые лушпайками, после чего их обдавали крутым кипятком, чтобы смыть вонючий технический жир, и с аппетитом уплетали за обе щёки.

Лично мне больше всего нравилось желе из столярного клея, по вкусу напоминавшее вишнёвый «мёд», застывший на стволах по весне. Однажды мама Нина Кузьминична выменяла за какое-то тряпье порядочный кусок столярного клея, – я на него вожаделенно смотрел и облизывался. Когда же она развела клей в воде, внутри оказалась верёвка, и желе получилось совсем жидким.

Вся эта несъедобная дрянь отвергалась организмом как нечто чуждое и непригодное к усвоению; еда, не задерживаясь ни в желудке, ни в кишечнике, проходила весь тракт часа за два, и мы с братом Алькой только-то и успевали, что бегать за хату по большой надобности. Без витаминов и жиров все дети выглядели худосочными, бледными и хилыми. Всякая царапина на теле прикидывалась нарывами, всякая ранка гноилась, кровоточила и долго не заживала. За зиму кто-нибудь из уличной нашей ватажки обязательно умирал, и потому зима считалась

самым трудным временем года. Чтобы обмануть желудок, взрослые пили много воды и болели водянкой; они набухали до синего цвета, делались какими-то ватными и мёрли прямо на ходу.

С сорок третьего года жить стало полегче. Как раз в это время из Америки по ленд-лизу поступило великое множество разнообразных, доброкачественных продуктов и – в благой час! Конечно, населению мало чего перепадало; в первую голову снабжали армию и партийное начальство. Нина Кузьминична аккуратно тогда приспособилась из заводской сахарной патоки гнать самогон-первак такой убойной крепости, что он от спички схватывался синим пламенем и выгорал в металлической ложке досуха.

Я загружался дымчатым забористым перваком и шёл на узловую станцию Готня, где на четверть часа останавливались все воинские эшелоны, идущие на фронт. Меня поднимали в теплушку, переливали зелье до малой капли в котелки и фляги, а взамен набивали мою котомку свиной и говяжьей тушёнкой в высоких цилиндрических банках, колбасой, сливочным маслом, галетами, молочным и яичным порошком и т. п. сухим довольствием, включая отечественное хозмыло и селёдку. Мы стали вкусно и сытно питаться, болячки сошли с нас, как с гуся вода, оставив по себе оспины и шрамы, щеки порозовели, выпиравшие скулы, ключицы и ребра стали сглаживаться. Ели мы, понятно, не от пуза, а наполовину, но и того хватило, чтобы, воспрянув и приободрившись, пойти вширь и в рост.

Когда война завершилась победой, наши принялись поносить американцев всякими непотребными словами, – мы, дескать, и без них с Гитлером управились бы, а они своей говяжьей тушёнкой рот нам хотят замазать, – союзники, мол, херовы. А хоть бы и так. Говяжья тушёнка тоже, поди, на дороге не валяется, и очень многим изголодавшимся людям впору при-шлась. Уж кто-кто, а я знал и очень точно, кого благодарить, что наша семья не пропала, но выжила, – родную партию и правительство или чужих добрых людей, за океаном проживающих.

Конечно, попадались места, где люди жили получше: Прибалтика, Средняя Азия, Кавказ и такие медвежьи углы, как хутор Ожогин, – там больше было возможностей для сокрытия живности и продовольствия от налогообложений и самочинных изъятий, загодя оправданных по законам войны: всё для фронта, ничего для тыла.

Смертные оповещения стали поступать на хутор вскоре после того, как тамошних мужиков под гребёнку замели на Великую Отечественную Экскурсию. С ними же ушёл и мой тесть Павлов Герасим Матвеевич, чтобы в сорок втором году безвестно пропасть под Керчью и долго ещё слоняться в молве, слухах и снах то по Австралии, то по Америке, то ещё где, будто и на самом деле не на войну человек пошёл, а в кругосветное путешествие отправился. Но первую похоронку принесли в тот самый заброшенный дом, о который я в лесу споткнулся, и было в ней сказано о хозяине слово в слово: погиб смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины. Дом тогда ещё не был забит досками, и жила там до войны нормальная полноценная семья: муж, жена и трое мал-мала, – старшему пять, среднему три с половиной, младшему полтора, – все до одного мужчины. Четвёртый мужичок-с-ноготок родился после похоронки, и у Вдовы не было времени долгие слезы проливать.

К счастью, житьё на хуторе было сытней, чем в целом по стране, где насчитывалось множество бескоровных хозяйств, а не иметь во дворе коровы значило из нужды не вылезать. В описях движимого имущества при налогообложении корова числилась первым номером, что отвечало действительному её месту в жизни, потому как всё от неё шло без остатка на пользу людям: что молоко, что мясо, что шкура, вплоть до пресловутых рогов с копытами. Мало того, её можно было запрячь в телегу и привезти дрова, сено и всякую всячину, но чаще всего на ней пахали, особенно в годы войны. Папа Юлиан Антонович не раз говорил при случае: – «Нет, не я глава семьи, Зорька наша главная, без неё нам бы хоть пропадай».

К корове повсюду относятся уважительно. В Индии ей поклоняются, как священному животному; в мусульманском Коране одна из первых глав так и называется – Корова; в Африке

по числу коров оценивают состояние; в России её любили как кормилицу, как помощницу, как члена семьи.

Когда-нибудь у Кремлёвской стены ей поставят памятник с надписью: «Спасительнице русского народа», – и это будет справедливо.

Когда началась война, в России возродилось бурлачество. Бескоронные семьи с приходом весны сбивались в небольшие артели душ по шесть, – один вёл борозду, следуя за однолемешным плугом, остальные, впрягшись в лямки, натурально бурлачили. Вообще-то бурлаки у нас и прежде не переводились, но из них не делали тайны за семью печатями: писатель Решетников написал о бурлаках отличную вещь, – «Подлиповцы» называлась; художник Репин привлёк к ним внимание русской общественности картиной «Бурлаки»; поэт Некрасов писал о них стихи; Шаляпин воспел их тяжкий труд в известной всему миру «Дубинушке». Короче сказать, мы об этом явлении знаем подробно, благодаря отечественной культуре, и Заболоцкий верно понимает гуманистическое предназначение русского искусства:

Любите живопись, поэты,  
Лишь ей единственной дано  
Души изменчивой приметы  
Переносить на полотно.

Это, конечно, так, но социалистическому реализму, столь же лживому, как партийная политика и коммунистическая доктрина, данная черта не присуща. Именно поэтому молодой современник абсолютно не в курсе, что на его дедах и прадедах советская власть землю пахала один к одному, как о том у Радищева сказано.

А у хуторской Вдовы была корова, и это уже послабление, хоть и не Бог вещь какое. Дети оставались под присмотром старшенького, и она торопилась посадить картошку, потому как дома её ждал непочатый край работы.

– Устала, гляди, – поблезновали Вдове бабы. – Передохни, притомилась...

– А то! – ответила Вдова, дыша ртом. – Сталина ба сюда... собаку усатого... вместо моей Жданки... чтоб он, гад, спознал... вдовью долю...

Вот и всё. Дальше можно не рассказывать, поскольку конец известен, а когда знаешь наперёд, чем дело кончится, пропадает интерес и слушать, и рассказывать.

Будь разговор с глазу на глаз, можно бы и замять дело, но слова Вдовы слышали несколько хуторских баб, и у всех дети, семья, и каждая боится, наученная горьким опытом, что только донос может вызволить её из беды неминуемой.

Вдову забрали через неделю после того. Приехали впятером из энкаведе и забрали. Собачку застрелили. Корову, подвинка и кур конфисковали для фронта, для победы. Старшой собрал десятка полтора хуторских баб и велел, чтоб во вражеском доме к обеденному часу никого не оставалось. Приказ начальства выполнили только наполовину: двух постарше взяли хуторские люди, а двое махоньких немовлят, то бишь не умеющих ещё разговаривать, никому не были нужны.

К назначенному времени старшой привёл дедов с инструментом, указал взять от сарая доски и заколотить намертво двери и окна. Дети в доме ревели в голос от голода, холода и страха. Деды тоже утирали сопли и слезы, но молотками стучали исправно. Только милиционеры держались молодцом и не плакали, потому как были настоящими коммунистами, их же и Маяковский прославил в стихах: «Если выставить в музее плачущего большевика», – помните? Прекрасные стихи, их в школе наизусть разучивали. Что со Вдовой случилось, – убили её сразу или она в лагере жизнь окончила, никто не знает поныне, и спросить не смеют.

Много лет хуторские панически боялись подходить к дому и говорили, будто из него слышен детский плач. Коммунистический режим загубил целую семью так же безнаказанно,

как он уничтожил десятки миллионов людей. Но миллионы жертв, как учил нас товарищ Сталин, есть не что иное, как статистика, а единицы – это уже высокая классическая трагедия. Возможно, он был прав, и я очень надеюсь, что двое невинно убиенных младенцев перевесят всю эту партию нераскаявшихся уголовников, носящих личину идейных борцов за вселенское счастье, и поставят её вне закона.

Двое старших детей остались живы. У них, правда, другие фамилии, но это ничего не меняет, и на судебном процессе о злодеяниях против человечества они могли бы выступить не только свидетелями, но и обвинителями грязной преступной клики, в которой никого не было, кто жил бы по совести.

Последний раз я видел вопиющий и взывающий к справедливости дом во всю высоту трубы, когда кровля легла на притолоку и на стены, а дымоход обнажился и, подобно персту, указывал в небо. Двор заметно одичал, порос густым кустарником и ни единой торной тропинкой не обозначал, что там бывают люди. А совсем уже недавно мой старший сын Саша, посетив место своего рождения, рассказал, что дом наконец-то рухнул, но как-то странно, шатром, пирамидкой, опершись, наверное, продольным сволоком и поперечными обополами о русскую печь, как бы сохраняя внутри некоторое пространство, где всё ещё лежат два истлевших детских трупика, взывающих ко Всевышнему Судии и к Вечной Памяти.

Трудно сказать с определённой ясностью, кто в том жутком злодеянии, от которого кровь стынет в жилах, повинен больше: советская власть или русский народ. Как единая этническая целостность народ не любит дроблений, в которых теряется его сущность, и, стало быть, не вправе рисковать собой дальше положенных пределов, но всячески попытается выжить, чего бы то ему ни стоило. В вынужденных подъяремных обстоятельствах, когда будущее ничего хорошего ему не сулило, народ не только принял кабальные условия власть предержащих, но и позолотил пилюлю словами:

«Вся ваша речь есть истинно святая,  
И ничего умней я не слышал».

В школе мы проходили горьковскую легенду о Данко, и я судил о нём примерно так: какой же он герой, если бежал безоглядно со своим племенем во мрак лесов и в болотные топи? – лучше бы они все в бою погибли, – как они смеют жить в рабстве, глаз не поднимая? Правда, в тексте было невразумительное оправдание: у них, мол, были заветы, и они поэтому не могли умереть. Впоследствии я понял, что эти заветы состояли в этнической цельнокупности и в национальных особенностях. Обыкновенный экзистенциализм, и до того всё просто, что и удивляться нечему. Горький был прав: для целого народа смерть не есть выход из положения.

А у властей объяснимых причин не видно, кроме страстного желания держать в руках судьбы всех народов. Это была бесчеловечная, сатанинская власть. К тому же её возглавлял человек, достойный всеобщего проклятия и самой недоброй памяти.

А что дальше? – издали не угадаешь. Нельзя исключить, что со временем люди воздадут славу Сталину и Гитлеру как санитарам и гуманистам, которые знали, что делать и как регулировать популяцию человечества. И опять ко власти придут либо коммунисты, либо фашисты с развёрнутой программой сокращения людского поголовья, только счёт уже пойдёт не на миллионы, а на миллиарды. Очень сомнительно, что к тому времени проблема перенаселённости разрешится за счёт освоения морского дна и новых мест обитания где-нибудь в созвездии Гончих Псов.

Вы только взгляните в нынешнее безумие людей и в их взаимное самоедство по национальному признаку: армяне – азербайджанцы, турки – курды, сербы – хорваты, сербы – албанцы, евреи – арабы, русские – чеченцы, хуту – тутси, таджики с узбеками – пуштуны, индусы – пакистанцы. Причина общеизвестна, хотя её покамест замалчивают: человечество

настолько приросло, что ещё немного – и на земле останутся лишь стоячие места. Мораль мирного сосуществования «в тесноте да не в обиде» перестала удовлетворять разнородных и разноплеменных людей, упёрших локти в ребра друг другу.

Есть ли выход? Не знаю, но будущее надежд особых не внушает. На смену нравственности пришла безнравственность. Порядок всё больше уступает хаосу. Культура выродилась: из музыки ушла мелодия, из живописи – рисунок, из литературы – смысл, из танца – динамическая пластичность. Кинофильмы, где насчитывают меньше десяти убийств, называют комедиями. Государственная независимость утверждается лишь тем, что каждая страна независимо от здравого смысла собирает угли себе на голову, созидая не единое общество, а разношёрстный сброд, раздираемый изнутри взаимной неприязнью. Нажитой опыт, как библейский, так и исторический, напрочь отброшен за непригодностью, не взирая, что вечные его законы никто по сей день не опроверг, и всё остаётся по-прежнему: дом, разделённый изнутри, не устоит; страна, размежёванная на чистых и нечистых, падёт.

Я живу на чужбине среди чужих людей и наблюдаю симптомы всеобщего «делириум тременс» в проявлениях самого отъявленного биологического национализма. Меня дважды били и многожды оскорбляли за русскость. Как «беспаспортному», мне нельзя рассчитывать ни на конституционное право, ни на судебную защиту. Меня предали друзья и близкие не оттого, что они были вздорными неуживчивыми людьми, а, скорей, потому, что предательство сделалось нормой общественного бытия. У меня нет никакой возможности выехать даже на время из страны проживания по неотложным делам, имея на руках серый паспорт, именуемый «паспортом негра» (аббревиатура от слова «негра[жданский]»), и моё самоощущение вполне сравнимо с пребыванием в исправительно-трудовом лагере, хотя я ни разу не был судим. Я не покидаю дом без веских причин из-за боязни, что меня обидят, унижат, обзовут, а я очень плохо держу удар с этой стороны ввиду преклонного возраста и сердечного недуга. Я совершенно одинок. Я ужинаю с телевизором, а разговариваю с кошками и собачкой. Чувствуя себя точно так же, как еврей в третьем рейхе, я не нахожу существенной разницы между порочной советской политикой и дискриминационной политикой эстонского правительства.

Что же меня держит в жизни? Я скажу, и да будет мой ответ никому не в обиду: Бог и родной язык.

## Родные и близкие

Я не верю, что детство счастливое, всё это одни слова. Вы тоже не верьте, мало ли что там наговорят: золотая пора, пройдёт не вернётся, всё б за него отдал, уж так жаль, прямо плакать, да ветер сушит. Самое трудное время, если честно признаться. За себя постоять сил не хватает, всем ты попереёк глотки воткнулся, а работы на тебе – и уроки, и дом, и колхоз – пупок натрое рвётся. Мне пятнадцать лет и я знаю точно, что хуже, чем теперь, никогда в моей жизни не будет.

Я хожу в школу, живу в станице, нигде пока не был и говорят обо мне родичи, что взбрёт безответно: на губах молоко, под носом сопли, женилка не оперилась, каши мало ел, смолёного волка не видел, жареный петух в задницу не клевал, а то, бывает, запросто плюху навесят и скажут: «Терпи, казак». Родни же у меня всякой в будний день на улице не разминутся, а о праздниках и говорить нечего. Это потому что мы – коренные, всегда тут жили, то есть, не всегда, конечно, а с тех пор, отец говорил, как при Екатерине Второй Запорожскую Сечь в эти края перевели. Деду моему только рюмку в себя за столом перекинуть, сразу заведёт похощацки: «Ой, спасыби тий царыци, хцо дала нам тут зэмлыци». Дед говорит, будто каждый человек обязан знать, от кого по фамилии происходит до седьмого колена, а если не знает, то такой человек считается ненадёжным, вроде как дерево без корней, и дружить с таким не нужно. Своих я знаю до девятого, до самых, выходит, Запорогов, и дед говорит, что я молодец.

А с Азамом я всё-таки дружу. Он сам осетин, мы сидим на одной парте, а отец у него колхозный председатель. Я спрашиваю: «Зямка, ты свою фамилию до какого колена знаешь?» – а он говорит: «Я, – говорит, – свою фамилию переменить хочу, на что мне кого знать». А фамилия у него, точно, нехорошая – Бледоев. Про его отца колхозники говорят, что он и по фамилии Бледоев, и по характеру тоже такой. И ещё я спрашиваю: «Зямка, как ты считаешь, десять тысяч рублей, это много?» – «Чего тут «много»? – отвечает. – Подумаешь! У меня у самого на книжке двенадцать тысяч, папан положил. Паспорт получу – мои будут совсем». – «Врёшь ты, – говорю, – и не краснеешь». – «Чего мне краснеть? – говорит. – Была охота!» Он потом показывал сберкнижку, и я своими глазами видел, что правда. А всё равно, для Зямки это, может, и не деньги, а по-моему, десять тысяч – это много, любой спросит, где взял, потому что такие деньги не для всех. У нас тоже столько собиралось за раз, так из этого целая история получилась, – я потом расскажу.

Из родства, кроме родителей, я ещё деда с бабкой люблю за правду и за понятность, а остальных – ни одного терпеть не могу, потому что все придураются, завидуют, хвальбуны и без обмана шагу не ступят. Они ко мне так же, как я к ним. Это, по-моему, нормально, что я им не нравлюсь. Отец им тоже не нравится. Он никогда не пьёт, поэтому они говорят на него – жадный, денег на водку жалеет. Я спрашивал у отца: «Почему вы не пьёте? Денег вам жалко?» – а он говорит, что есть много такого, что ему понимать нужно, а с пьяной головы какое понятие? Но это всё я говорю просто так, для знакомства, а теперь хочу рассказать, как отец по облигации десять тысяч рублей выиграл. Дома у нас особо не шумели, хотя всем было весело, потому что за эти деньги отцу надо было четыре года работать: и не есть, и не пить, и ни на что не тратиться. А дом старый: отец давно хотел другой купить, но не хватало денег. Если строиться, тогда, конечно, дешевле, только воровать нужно, а он брезгует и не умеет.

Случилось это как раз под Рождество, так что на другой же день мамка сварила кутьи и велела отнести деду с бабкой, а они с тёткой Параской на дальнем краю станицы жили. Я отнёс, поздравил и про облигацию сказал, а они вместо того, чтобы радоваться, перепугались вусмерть. Бабка принялась креститься на иконы, дед встал по стойке «смирно», лишь руки растопырил и бубнит всё время: «Это что ж теперь будет? Это что ж теперь будет?» – а тётка Параска посерела, позеленела, прилипла к стенке и стала колотиться об неё головой, а сама

рыдает и кричит, не перестаёт: «Чтоб вам холера всем, вы мою жизнь загубили! У кого есть, тому и Бог даёт! У кого есть, тому и Бог даёт! Чтоб вы сгорели! Чтоб ваша корова пропала! Чтоб у вас свинья сдохла от рожи!» Так кричала, так кричала, я такого крика не слышал даже по покойникам.

Меня тут же разом в сенцы выпроводили. Бабка меня обхватила и шепчет тихо, как от посторонних: «Тётку не слушай. Папке-мамке передай: спасибо, слава Богу, слава Богу. Пусть вам поможет Царица небесная. Иди, Миша, с Богом до дому». Дед говорит: «Ты, Миша, папке не рассказывай». А я зачем буду рассказывать, когда отец и без того знает. Мне деда жаль. Больше всего на свете он боится недостатка и денег. Это у него ещё с тех пор, как раскулачивали. Тогда у них семья была двадцать душ, и держали они две коровы. А по закону считалось, что, если две коровы, то – кулак и враг народа. Поотнимали коров, из дому выгнали, за малым до Сибири дело не дошло, – разбрелись они кто куда и жили кто как. С того времени мои родственники, чтобы прожить и придуряться научились, и брехать не глядя, и тоже вот так злоститься, как тётка Параска. Это я понимаю.

По дороге зашёл я к дяде Петру, – он отцу родной старший брат. Я, правда, не к нему заходил, а к ихней Симке, – она мне сестра двоюродная, совсем уже девка, школу кончает, и я через неё хорошие книжки достаю, не про шпионаж, а другие, серьёзные. Пока я к ним шёл, всю дорогу думал, что теперь не буду говорить про облигацию, а они, оказывается, уже без меня знают. Тётя Марыся сразу с меня пальто дёрг-долгой и рассыпалась, не остановишь:

– Раздевайся, Мишечка, проходи, садись на лавку, как здоровычко? как дома? что так мало нас проводишь? может, улицу забыл? родство теряешь, загордились, теперь вы богатые, а мы бедные, нам теперь тебя и привечать не знаем чем, да мы не обижаемся, пусть другие сладко живут, а мы как-нибудь своим трудом, своим горбом, по копейке, по рубчику, ты уж нас не презирай за нужду, что хлеб до рук доедаем, бедность – не грех, не всем же тысячами считать, как вы, надо ж кому-никому и слезьми обливаться, мы на счастье не надеемся, наше счастье пёши с сумой по чужим дворам ходит, счастье – оно того любит, кому горя нет, кто всю жизнь как сыр в масле...

Слушать её было очень противно, а тут ещё дядя Петро командует директорским голосом:

– Это правда?

– Что «правда»? – спрашиваю.

– Что! Что! – перекинул он меня. – Что Лёнька на облигацию выиграл, вот что!

– Правда, – говорю.

Тут он сразу же перестал со мной строго разговаривать, а вздохнул широко и сказал:

– Вот это да!

И пошли расспросы: что да как, да чего, но я больше отмалчивался, чем говорил.

– А не рассказывал папка случаем, – дядя спрашивает, – что он с ними собирается? Ну, там, купить чего, или там, ещё чего?

– Нет, – отвечаю, – не рассказывал.

– Так-таки он тебе и скажет, – отплюнулась тётя Марыся семечками. – А то ты Лёньку не знаешь. У него снегу зимой не выпросишь, а ты про деньги.

– Ну, не бреши, – заступился дядя Петро за отца. – Снег снегом, дело прошлогоднее. А такая куча грош, – что ж их, по-твоему, солить? Куда их, ну? Посоветоваться не мешает. А ему с кем советовать, как не с нами? Чужих людей в такое дело только пусти, они тебе насоветуют... Нет, тут, главное, чтоб все свои и по справедливости... – А ну, Симка, – обернулся он к дочке, – мотай до дяди Васюни живо-два, одна нога тут, другая там. Передай: папка сказал, хочет по срочности...

Дядя Васюня примчался потный, дымный, кожух внакидку, мотня настезь, – спешил, застегнуться часу не было. Он ещё снег с валенок обивал на пороге, а уже хрипел басом, пугая рыжего Мурзика:

– Вот повезло, так повезло! Ох, и молодец же Лёнька, ох, и молодец! Я так и знал, что он ещё всей станице покажет, кто мы такие, какого заводу. Вот это капиталист! Вот это герой! Всесторонне!

Они уселись за стол и принялись один попере́д одного у меня выведывать, когда и как всё это было, да что мамка сказала, да что папка присказал, да кто из других эту облигацию видел или где она у нас сохранялась, но я знал мало и отвечал тоже в час по чайной ложке. А им не терпелось и они не так меня дёргали, как меж собой переговаривались, что такие деньги лучше получать крупными, чем мелкими, чтоб легче прятать; что замки в доме надо теперь всё переделать, а дядя Петро и дядя Васюня с дорогой душой помогут отцу их переделать; что нашего старого кобелька Дозора в самый раз обязательно поменять на молодого и позлей, а дядя Петро с дядей Васюней знают, где достать стоящего барбоса, – настоящий волкодав; что теперь нам надо держать ночью на всякий случай в сенях топор, в кухне ломик, но для горницы лучше культурно завести берданку, а дядя Васюня с дядей Петром знают, где есть продажная, десятый калибр, центральный бой; что теперь Лёнька (мой отец, значит) никуда от своих не открутится, ежели ему по закону положено развязать заглазник и выставить для родни смазку с горючим, лучше конечно, денатурат, чем водку, потому что и дешёво, и сердито, а дядя Васюня и дядя Петро знают, где добыть настоящий денатурат, кашинский, а это совсем не то, что калининский... Они и дальше бы рассуждали, если б я нарочно не проболтался, что отец денег не получил, а выдали ему сберкнижку и в ней написали: столько, мол, и столько рублей.

– Видал, смекливый какой! – сказал дядя Петро и криво усмехнулся.

– Всесторонне, – добавил дядя Васюня и задумался.

Некоторое время они ездили под столом ногами и молча сопели, будто им не стало о чём толковать, а стоило тётке Марысе вмешаться, дядя Петро тут же ей сказал:

– Цыть, не шебурши, твоё дело телята, – и послал в погреб за самогоном и кислой капустой, потому что у них при любом разговоре самогон – это первый контакт. Когда закуска и выпивка были на столе, дядя Петро опять заругался, что тётка Марыся поставила чарки, а не стаканы, а у них, он сказал, дело крупное и не напёрстками его мерить. Оба немедленно принялись по стакану вонючего первака и, как зайцы, захрумтели капустой. Потом дядя Петро похозяйски приказал тётке Марысе и Симке мотать со двора, куда хотят, на время, потому что сейчас пойдёт мужской разговор и женщинам тут не место. Я тоже хотел с ними, но он меня не пустил и сказал дяде Васюне так:

– Я позвал тебя, Васька, чтобы ты знал, что я с тобой душа в душу, как с родным, а также для уважения, и если ты меня ещё презираешь, то глубоко ошибаешься, даю тебе слово.

На это дядя Васюня ответил:

– Я тебя уважаю, Петро, как брата, хотя ты, паразит, с позапрошлого года мне должен, когда сдал моего бычка за своего, а своего за моего, а в моём было живого веса, любой бы сказал, на полцентнера больше, но я тебя за это не презираю, а уважаю и прощаю тебе, Петя, твой долг от чистого сердца, потому что ты старше и не время сейчас вспоминать.

Высказавшись, он закрылся рукой и от жалости к бычку заплакал. Дядя Петро схватил его за шею, и они сидели в обнимку, плакали и с таким причмоком целовались, точно станичную грязь месили по мокропогодице, растабаривая между поцелуями, что бычок – тьфу на него, а главное – это не терять уважение друг к другу. Я хотел незаметно уйти, но меня опять силой придавили на лавке и сказали:

– Терпи, казак, атаманом будешь. – Они разом утёрлись, а дядя Петро выдрал из симкиной тетради два листа, взял карандаш и сказал совсем сухим голосом, будто и не плакал вовсе:

– Теперь, значит, вот Мишка говорит, что Лёнька выиграл на облигацию вагон монет и, как я правильно понимаю, обязан с нами на днях поделиться, если он, конечно, брат. Чтоб он не сомневался, вроде это я сам, без никого, я и пригласил тебя, чтобы всё это дело честно, между своими, по совести и никого не оскорблять. Кроме того, мы с тобой старше, и он это должен учитывать, что лучше, чем мы с тобой, ему ни одна душа не посоветует, потому как братья, общая кровь и все должны в трудную минуту горой стоять.

– Всесторонне с вами согласен, – сказал дядя Васюня.

– Так вот, – продолжил выступление дядя Петро. – Хочу задать тебе один вопрос: есть у нас такой закон, чтобы брат брата не уважал?

– Нету такого закона, – решительно отрезал дядя Васюня.

– А у Лёньки ещё есть братья, кроме как ты и я?

– Что ты, какие братья, ежели б не мы?

– Это во-первых, – прозвонил дядя Петро по здоровенной бутылке карандашом. – Вторых, чего ему делать, скажи, с такими деньгами, как нас не отблагодарить? Мы кто? Коллектив. Огромная сила. Если всех, как мы с тобой собрать, что он один против нас сможет? Ни хрена! Потому и закон гласит всегда на стороне коллектива. Теперь рассуди обратно с другого боку. Взять, хоть бы ты. Если б тебе привалила, сказать, такая сумма, ты разве б забыл про меня, про него, про ваших-наших? А? Неужели б не вспомнил? Не поделился? А, Василь?

– Да чего там! – отмахнулся дядя Васюня. – Завсегда. Ну, сам подумай, на кой мне одному такие деньги. Что я на них, – на курорт или за границу? Мне и тут не дуется. Тебе бы дал, Параске, Якову, кому ещё, а лично мне ничего не надо, только бы у вас было, – правильно? Мне и так хорошо.

– Тоже такого мнения, – кивнул дядя Петро. – Я б ещё не так сказал: «Вот дорогие братья и сестры, досталось мне нечаянно столько-то дурных денег. Я их не заработал, не добыл, ничего из хозяйства не продал, а вроде наподобие по дороге валялись, – верно говорю? Теперь вы их промежду себя по-хорошему делите, а я пошёл домой». Вот что бы я им, Василёк, отмочил.

– Это ты всесторонне, – согласился дядя Васюня.

Я уже сообразил, для чего у дяди Петра карандаш и бумага, – деньги отцовские делить. Мне стало обидно, что я в компании с ними заодно, и я сказал:

– Если вам, дядя Петро, своих денег не жалко, для чего ж вам чужие? Вы ж их всё равно отдадите кому попало. Потому что чужие – тоже одинаково, что на дороге. Уж лучше тогда в фонд фестиваля молодёжи и студентов, чем кому зря.

Они посмотрели один на другого, выпили, и дядя Петро стал грустно на меня жаловаться дяде Васюне: «Видал, – говорит, – Вася, какой буржуазист нам с тобой на подмену растёт? Как же он будет управлять-руководить, ежели с малых лет против старших? – Он повернулся ко мне и стал меня стыдить. – А ещё комсомолец! Какой же из тебя, к свиньям, авангард, когда ты так рассуждаешь? Учат вас, учат, никак не научат... А ну отвечай, что главней, общественное или же своё?»

Я ответил, что в школе учат, будто общественное главней, но я лично ещё не решил, так это или не так. Тут дядя Васюня не выдержал моей грубости и заплакал, а дядя Петро начал его уговаривать, чтобы он себя понапрасну не травмировал из-за таких оглоедов как я, и что меня, мол, жизнь за это жестоко накажет, и всякие, в общем, приводил успокоения, но дядя Васюня долго не желал успокоиться и обижался сквозь слезы, что жить не может на таком белом свете, а как посмотрит на поколение подрастающих, так и горько ему делается, так и плачет он по ночам кровавыми слезами в подушку, потому что такие как я, обязательно доведут страну до ручки и тогда будет неизвестно, за что они с дядей Петром всю жизнь боролись и для кого наш народ построил Волго-Дон. Потом он вцепился мне в плечо и завопил:

– Как же ты не знаешь, когда я у тебя русским языком всесторонне спрашиваю: что, например, важней, колхоз или мой дом?

Я сказал, что дом важнее, потому что в колхозе только работают, а работать везде можно, а дома и живут, и спят, и едят, и хозяйство держат, и всё. Они стали доказывать, что я неправ, что в колхозе техника, план, мероприятия, дворец культуры и многое другое, а дома одна лишь корова, да и та яловая, но мне было непонятно, как бы они ночевали во дворце с крысами, а выпивали б на тракторе, и капуста бы у них стояла под ногами, где сцепления и передачи, а четверть с самогоном и вовсе поставить некуда.

Они видят, что я им не верю и принялись напирать, что я ещё молодой, недопонимаю политику и конституцию, и даже недопонимаю, что государство прежде всего, а люди уже потом, так как, если с людьми плохо, это не имеет особого значения, а когда государству трудно, то от этого страдает весь земной шар и все негры. Но я сказал, что это мне понятно, и опять же повторил, что пусть лучше отец вернёт деньги государству, чтоб неграм веселей жилось, чем всем подряд, абы кому. За это они на меня здорово разозлились, выпили ещё по стакану, а дядя Петро обтёрся, припомнил мне жареного петуха и прочитал лекцию, что у меня молоко, мол, на губах им указывать и что, когда я вырасту, то пойму, что государству эти деньги даром не нужны, потому что государство наше стоит сейчас на таких крепких ногах, как никогда, и будет стоять, пока такие, как дядя Петро с дядей Васюней не перевелись, а мне пора уже расширять свой кругозор и допонимать, что мы «их» всесторонне ракетами закидаем, если «они» на нас нарвутся.

Я засмеялся, потому что подумал, будто наше государство – высокий до неба мужик: одна нога у него – дядя Васюня, другая – дядя Петро, а они уже оба под булдой, и мужику с такими ногами лежать способней, чем ходить. Из-за моего смеха они ещё сильнее обиделись и стали меня упрекать, что я бескультурный, в отца пошёл и старших не уважаю, а вот когда они были в моих годах, то всех старше себя подряд уважали и никогда не спорили, а слушались, что старшие скажут, и все их хвалили и по голове гладили, – какие, мол, хорошие ребята, интересно, чьи это они такие? – а меня хвалить не за что, потому что много о себе воображаю, будто я умней всех, а на деле – дурак дураком и уши холодные.

Мне с ними уже порядком надоело и я сказал:

– Раз я дурак, то меня и держать нечего, хочу домой, – но дядя Васюня сгрёб меня в охапку и пересадил между собой и дядей Петром, чтобы я не удрал, и дал мне из капусты мочёное яблоко, а сам сказал, что, мол, ихняя Симка брешет, будто у меня по математике круглые успехи, но это ещё надо доказать, что я за «профессор», и они это сейчас проверят, потому что у них тоже планируется высокая математика. Дядя Петро сразу взял листок и написал вверху единицу с четырьмя нулями. Я понял, что это отцовские деньги и сейчас их начнут делить, кому сколько надо.

Сперва они потолковали, что деду и бабке ничего не надо, так как преклонный возраст, одной ногой в могиле, а туда всех бесплатно пропускают и так далее, это – раз, а во-вторых, старикам сколько ни дай, они их в тот же день тётке Параске за жалобные глаза отдадут, – «болезная, несчастливая, доли нет, муж бросил», а с ней ни один мужик не уживётся, потому что жадная, почти как мой отец, из-под себя жрёт и всё говорит «мало». Самой тётке Параске в наказание за жадность назначить пятьдесят рублей и – будет.

Тётя Танька жила в городе, а там промышленность, универмаги, такси, рестораны, штук двадцать всяких кинотеатров и, вообще, что твоя душа желает, не то, что в станице, где за каждую копейку надо гнуться Курской дугой и биться Сталинградской битвой. Дядя Петро записал её вторым номером и выделил сотню, но дядя Васюня сказал, что Параска обидится, если Таньке больше дать, и устроит скандал, так что главное тут не деньги, а справедливость, чтобы всесторонне, по-честному, безо всякой зависти или обиды, а это значит поровну. Не возражая против, дядя Петро вычеркнул цифру «сто» и нарисовал «пятьдесят».

Вслед за тётей Танькой дядя Петро записал себя с дядей Васюней и определил каждому по две тысячи. Дядя Васюня засомневался и спросил: «Не много?» – но дядя Петро ответил: «В самый раз. Ещё больше половины остаётся. Куда при таких деньгах «много»!

Они поразговаривали некоторое время про уважение дяди Петра к дяде Васюне и взаимно дяди Васюни к дяде Петру, и про отца, который им доводится – младший брат и по закону должен их категорически уважать, как они его уважают, хоть он и жадный, – «всё себе да себе, а другие пусть, как хотят». Мне они посоветовали не слушать отца, который даже беспартийный и ничему хорошему не научит, а брать пример с них, тогда всё у меня в жизни будет путём и всесторонне передово.

Всё же после разговоров они повели делёж осторожней и не тысячами уже, а сотнями, но это, может, потому, что дальше пошла двоюродная, троюродная и прочая шушваль – «сбор блатных и шайка нищих», как дядя Васюня высказался. Я – кого знал, кого нет, потому что станица большая и людей много, но от меня и не требовалось всех знать, а только лишь сидеть и слушать, как старшие порешат. Я вовсе, к примеру, не знал, что есть племяш Сеня, который будто бы сказал про отца когда-то: «Я за дядю Лёньку отдам хоть самого чёрта», – и вообще, услышал о нём только теперь, когда дядя Петро начислил ему за это обещание пятьсот рублей.

Дядю Яшку я, правда, знал, даром что он мне четвероюродный. Его все знают. Он, как выпьет, так, первым делом, лезет на крышу хаты и кричит прохожим: «Граждане, стой! Слушай мою команду! Доклад ставит Бажан Яков!» Этот дядя ещё лет двадцать назад сказал отцу: «Учись, Лёнька. Выше-среднее образование, это – всё. Ума не станет, у науки займёшь, а науку достигнешь, кусок хлеба будешь иметь». Поэтому дядя Петро и дядя Васюня рассуждали про него, загибая пальцы, что если б не дядя Яшка, остался бы отец без выше-среднего образования – раз, не сделался бы агрономом – два, не заимел бы облигацию – три и, значит, ни шиша бы не выиграл – четыре. В целом, за разумный совет дяде Яшке полагалось четыреста отцовских рублей или по сотне за каждый загнутый палец.

О детях вспомнили. У дяди Петра был сын Витька, у дяди Васюни – дочь Сонька, мне двоюродные брат и сестра: он – женат, она – замужем. Оба жили отдельно сразу, как поженились, но всё одно – не чужие. Соньке выделили сто сорок рублей, а Витьке сто шестьдесят, потому что Сонька только ещё ходила беременная, а у Витьки уже Сашок бегал, дяди Петра внук, такой шустрый и зубатый, что все удивлялись. Вот Сашку и положили по рублю на зубок, поэтому Витьке вышло больше, а Соньке меньше.

Потом шёл сват Федя, бывший дяди Васюни сосед и друг «не-разлей-вода», который подался на заработки и уже лет пять от него не было ни слуху, ни духу. Свата Федю включили в список под вопросом и договорились послать ему сто рублей смеха ради, когда адрес достанут. То-то он удивится да подумает: «Вот тебе на! Поехал за деньгами, а они меня сами ищут»... Так как народу было много, одного листка не хватило и перешли на второй.

Никогда бы не подумал, что у меня столько родственников и что отец всем им так сильно задолжал. Наверное поэтому отца записали на другом листке в последнюю очередь, тридцать каким-то по счету, когда всех достойных перебрали. Дядя Петро жирно подчеркнул столбики имён и цифр, налил себе и дяде Васюне, чокнулся, – чуть стаканы не побились, покрасовался на список, выпил и во всю глотку затынул:

– Собира-а-ались козаче-е-еньки-и-и...

Дядя Васюня подбасил. Пока они пели, я высчитал. Получилось пятнадцать тысяч восемьсот сорок пять рублей. Дядя Петро взял листок и самолично отнял от этого числа десять тысяч выигрыша. Он переглянулся с дядей Васюней и сказал:

– Что за гадство? Откуда они берутся? Обратное больше половины осталось.

– Нормальное дело, – отозвался дядя Васюня. – Деньги идут к деньгам. Это всегда так, – ты что, не знаешь? Раскинь, что там есть на двоих и будет всесторонне.

– А Лёнька? – спросил дядя Петро.

– Ну, на троих, – ответил дядя Васюня. – Что нам жалко? Брат, что ни говори. Дай Бог, чтоб и он к нам так же всесторонне, как мы к нему в трудную минуту.

– Тут что-то не то, – мрачно сказал дядя Петро. Раскинул. Получается у нас у троих чуть не двенадцать тысяч. А их всего десять.

– Щщетовод из тебя, – гусаком прошипел дядя Васюня. – Не можешь – не берись. Дай сюда! – Он вырвал у дяди Петра листки с расчётами и кинулся проверять, но у него то же самое вышло: троим братьям в складчину полагалось больше, чем было в кассе. Он швырнул карандаш, ухватил меня за шиворот и обдал самогонным духом:

– Ну, студент наук? Это что ж такое, а?

Я сказал, что по правилам отнимать надо от десяти тысяч, а не от пятнадцати. Они стали делать, как я велел, но у них опять ничего не получилось, потому что уменьшаемое было меньше вычитаемого. Я им объяснял и объяснял, пока не вдолбил, что денег на всех желающих не хватает и, чтоб хватило, надо скостить или деньги, или желающих.

– Это почему скостить? – взревел бугаем дядя Васюня. – По какому такому закону? Это ж сколько людей из-за одного пострадают! За что? – Тут они стали, было, кочевряжиться и норовили всё свалить на отца: он-де недовыиграл, пусть сам и расхлёбывает, но потом видят, что дело так не пойдёт, и согласились, даже подобрели вроде.

– Молодчина! – похвалил меня дядя Петро. – Голова! Инженер-электрик! Переводим тебя в будущий класс без экзамена.

Началось вычитание. Сперва решили скинуть по полсотни с каждого, кроме дяди Петра и дяди Васюни, а я наблюдал, как вместе с деньгами полетели из списка знакомые и незнакомые родственники: тётя Параска, тётя Танька, кум Иван Первый, кум Иван Второй, шурик, свояк, зятёк, ятровка, золовка и прочая шушваль.

Список до того перемазали и вывозили, что трудно было складывать, но я всё ж таки сладил и сказал: надо ещё скинуть, а то опять денег не хватит. На этот раз решили удержать со всех по сотне без поблажек, в том числе с дяди Петра и с дяди Васюни тоже. Скостили. Выбыл из строя лучший друг дяди Васюни, сват Федя, так и не дождавшись денежного перевода. Вылетел покойного двоюродного деда Кузьмы троюродный внучок Серёжа, очень толковый мужик, но, как сказали дядя Васюня и дядя Петро, не особо нуждающийся, потому что завсклад. Ушли двоюродные Сонька и Витька, а с Витькой и зубатый Сашок по такой причине, что у них, мол, вся жизнь ещё впереди. Дяде Яшке из четырёхсот целковых оставили только-только на папиросы. Заодно вспомнили что-то нехорошее про племяша Сеню и не дали ему ни копейки, вычеркнули всего. Таким манером наисключали душ десятка полтора. В общем, черкали много и вскоре на бумаге стало ничего не разобрать, кому сколько. Я сказал, что теперь денег хватит приблизительно на всех, только я считать больше не буду, потому что намарали, а кто марал, тот пускай и переписывает, если нужно, чтобы в точности.

Дядя Васюня хотел переписать, потому, мол, что он на голову крепче и сколько ни выпьет – море по колено, но дядя Петро сказал, что у него зато почерк лучше, хотя я сразу догадался, что почерк ни при чём, а просто дядя Петро смухлевал и забыл у себя отобрать, когда у всех по сотне отнимали, а скостил за двоих с дяди Васюни и хотел, чтобы проскочило, так как у него тогда больше будет, чем у других. Он хоть и пьяный, а хитрый: прикинется, будто спит, а сам всё слышит, что говорят. У него и присказка с него ростом: «Давай сперва твоё, а потом каждый своё». Они оба такие: пьют до одной точки, а дальше того не хмелеют, лишь красные и соображают туго, если у них что спросить...

Вот дядя Петро переписал всё набело (на одном листке поместилось, немного, правда, коряво, но для пьяного очень даже подходяще) и подаёт мимо дяди Васюни, а сам улыбается, как подлиза, моргает мне дальним глазом, чтоб я помалкивал, и спрашивает:

– Ну, как?

Я посмотрел, посмотрел...

– Нет, – говорю. – Наверное, отец не согласится. Ему тут меньше всех причитается.

– А это мы добавим, подмогнём, это в наших силах, – расщедрился дядя Петро. – Верно, Вася? Давай с Лёнкой поделимся, с младшим нашим, единотрудным, единопробным... И выпьем за него по целой.

– Всесторонне с вами согласен, – говорит дядя Васюня. – Только моё такое мнение: денег уже теперь не трогать, а лучше скостим ему выпивку, какую он нам должен поставить по такому случаю. Это ему рублей на пятьсот прибыль, если посчитать, сколько мы списочно выпить можем, а то и больше.

– Совсем, – я говорю, – не больше. Какие пятьсот? Тут отцу всего получать по списку двести тридцать рублей. Это разве деньги? Вы, когда свою Соньку замуж отдавали, даже глухому Захарке пастуху в рот кричали: «Полторы тысячи! Полторы тысячи!» Думаете, я не понимаю, да?

– Каких двести тридцать? – тарашит глаза дядя Васюня и привстаёт. – Ты чего мелишь? – а сам... хват! у меня листок и ну, – ревизия. Потом набычился и к дяде Петру поворачивается:

– Так ты себе, значит, две тысячи, а Ваське тысячу восемьсот и, мол, будет с него, перебьётся. Васька, мол, таковский, лыком шитый, мешком из-за угла стукнутый. Ах ты, жулик, паразит! Привык на чужих харчах заедаться! А это видал? – Дядя Васюня скрутил крупную дулю с загогулиной и сунул её дяде Петру прямо в сопло. – На, пососи и больше не проси! Ушлый какой нашёлся, – Митькой звать! Думаешь, если старше, так на мне воду возить? Думаешь, я тебе рябого своего бычка так и простил? Аферист!

Завязалась у них ссора. А тут и тётя Марыся подросла, тоже влезла, как затычка в дырку.

– Стыд и позор тебе, Васька, за такие слова! Нужен был нам ваш дохлый бычок, как я не знаю чего! Мы чужого сроду не брали, хоть у кого спроси. Нас все до райкома-крайкома знают-уважают. Мы не крадём колхозное сено по ночам, как ты.

– Херов, как дров! – вызверился на неё дядя Васюня и, ни к селу ни к городу, приплёл мать Христофора Колумба. – А ты забыла, морда странная, что я тебе этого сена краденого целую скирду наметал? Забыла? Думаешь, как твой Петро народный контроль, так... Раньше я, значит, Васюня был, а теперь Васька?.. Да я вас, падлы, всесторонне презираю до одного! Да я вас за три копейки всех...

– Меня?! – вскипел дядя Петро слюнями. – В моём доме! За моё добро?! Презираешь?! Ах ты, зараза! Марыська, а ну неси топор, я ему голову срублю, – не брат он мне на сегодняшний день!

Пока они ругались, я под столом пролез, шапку схватил, пальто и – ходу! Только за двор выскочил, стёкла зазвенели битые и тётя Марыся дурняком заголосила:

– Ой, ругайте! Ой, люди добрые! Ой, убивают! Ой, милиция!

Вот и всё. Конечно, никто никого не убил, только окна да посуду переколотили. А денег отец так никому и не дал. Он продал старый наш дом, ещё добавил, что раньше набралось, да облигация помогла и купил кирпичный. В станице можно хороший дом купить, так как все образованные хотят жить в городе и туда переезжают, а отец не хочет, «потому, – говорит, – что землю люблю». Я тоже хочу любить землю, когда выучусь. Очень хочу. Как отец.

## Катя

– Хотите достать хорошую медвежью шкуру, – говорили нам в двадцатый раз, – поезжайте на Чёрную речку к деду Удовенко Фомичу. У кого-кого, а у него найдётся.

Легендарный дед с отчеством без имени жил километрах в восьмидесяти от посёлка и ехать так далеко мне не очень хотелось. Дело в том, что я не люблю медвежатников, так как в охоте на медведей, по-моему, есть много сходства с разбоем на большой дороге. В самом деле – встречает человек медведя и говорит ему: «Раздевайся». У человека при себе двустволка и нож, у медведя первобытные клыки да когти, – нет, встреча происходит не на равных и по самым подлым канонам нынешнего терроризма. К тому же, всё имущество медведя состоит из шубы, точнее сказать, из собственной шкуры и отдать её по первому слову он не может, за что и получает два жакана в упор. Думается, что здесь больше все-таки убийства и грабежа, чем риска или смелости, и человек, наверное, испытывает те же чувства, что и бандит, рассказывая об удачной охоте исключительно ради облегчения совести. Во-вторых, мне не нравится спешка без надобности; я предпочитаю всему просторный диван с хорошей книгой и не считаю свои занятия хуже, чем лазанье по горам, всякие там пешие тропы или даже путешествия с оплаченным комфортом. Наконец, в-третьих, я знал, что расстояния на Камчатке лучше наперёд мерить вдвое, чтобы потом меньше огорчаться. А полтораста километров говорили сами за себя – раньше, чем в три дня нам не обернуться. Обо всём этом я сказал приятелю, впрочем, сказал, будто от третьего лица – вяло и неубедительно.

Костя энергично запротестовал, сказав, что подобную некорректность может простить только мне и что он очень рассчитывал на моё обещание, которым он, вроде бы, когда-то заручился. Он и сам сладил бы с задачей, но берет меня только из-за внешних впечатлений: белый человек, культурный товарищ из центра... Я не обиделся, потому что давно знал о Костином желании увезти на материк медвежью шкуру, притом, не какую попало, а первый сорт.

– Понимаешь, – часто повторял он, и глаза у него загорались от азарта. – Вот, заходишь ты, скажем, в зал, да? А на полу во всю жилплощадь шкура, – это тебе как? И заметь, не какого-нибудь недоростка, вроде дальневосточного муравьеда, а настоящего, бурого, камчатского, полутонного. Лапы с когтями, клыки оскалены – неужели не впечатляет? Ступишь – нога тонет. Ворс – лес густой, не продерёшься. Это же антик! Сейчас это модно, знаешь как? Что там ковёр! У меня и гарнитур бурый, что в цвет, что в масть.

Ни зал, ни бурая обстановка меня не привлекали, и я, чтобы досадить Костиной практичности, разводил в расстеленной на полу шкуре блох и моль. На Костю это впечатлений не производило, потому что он знал множество сильных противодействующих средств.

– Самое главное, – говорил он с рассудочностью тихого помешательства, – чтобы зверь был здоров, а остальное сойдёт.

В его блокноте появились записи о длине ворса, о расцветках, о признаках качества и сортности, о размерах и, вообще, о таких подробностях, которые сделали бы честь самому придирчивому выбраковщику при отборе мехов на аукцион. Так же неожиданно он стал покрываться шерстью, дико обрастая бородой, а в разговорах о медведях он теперь как бы облачался в шкуру мехом наружу и выглядел страшноватым, как Бармалей. После невесёлой, на год затянувшейся командировки, ему до отъезда оставался месяц, но чем меньше оставалось, тем возбуждённой и настойчивей он делался.

Словом, мы решили отправиться на ту Чёрную речку, где жил некий Удовенко Фомич. Всякие приготовления с охотой взял на себя Костя, а от меня требовалось единственно ступить на борт «мотора», как местные жители называют моторную лодку, в точно назначенное время и без оправданий.

Задержки не было, оправданий – тоже, и в обусловленный день и час лодка с экипажем из трёх человек протарахтела мимо посёлка, зажатого на узкой песчаной косе между рекой и морем. По реке, как по бойкому тракту, с шумом и гамом сновали рыболовные траулеры, буксиры и катера, оглашая воздух гудками, металлическим лязгом и громкими людскими головами. Невзирая на помехи, Костя исходил криком, закрепляя знакомство с третьим спутником и выспрашивал его о том, о сём, на что тот отвечал также громко.

– Что? Рыбак, а кто ж ещё? Нет, нечаянный отпуск, судно в ремонте. Рыбалка – отдых? Это вам отдых, а мне... Эй, там, возле канистры, полегче со спичками, а то всем будет рыбалка.

Через полчаса, не подходя к устью, лодка свернула в протоку и сразу стало тихо, только ритмично выстукивал мотор, да винт пенил за кормой воду.

Третьим в лодке был её владелец. Лет ему было около сорока, а обращались мы к нему так, как он нам представился – Федя. Для общности мы тоже отрекомендовались мальчишками, но он ни разу не назвал нас по имени, а обращался не иначе, как «Вы» или «Эй, там, возле канистры», окликая меня, и «Эй, там, на носу» – Костю. Так ему, вероятно, было удобней. К Фомичу, личность которого он знал хорошо, а имя – нет, Федя согласился отвезти нас за полцены, потому что сам ехал по надобности, собираясь запастись в тайге берёзовыми вениками для бани на зиму.

Лицо Феде не выражало никакой внутренней борьбы, свойственной сложному миру современника; оно было раздольным, как равнина, воспетая в ямщицких песнях, или как тундра, в которую углублялась протока. Запоминающейся особенностью был здоровый полнокровный румянец, покрывавший лицо, уши и шею и похожий на первый, но крепкий курортный загар, а белёдые волосы и жнивье несколько дней не бритой щетины предполагали, что, прежде чем куда-то ехать, Федя долго и крепко мылся в бане хозяйственным мылом, парился и плескался кипятком до тех пор, пока, как ситчик, не полинял. И будь у него в достатке веников, ещё неизвестно, состоялась бы наша поездка или не состоялась. Фигура его тоже была примечательна: когда он брал ружье, из которого так никто за поездку и не выстрелил, оно выглядело игрушечным и хрупким, плохо совмещаясь с квадратной натурой хозяина даже при среднем его росте.

В лодке угомонились и помалкивали. Мы с любопытством осматривались по сторонам, исподволь осваивая также своего нового знакомого, который сидел на корме и правил, а о чём думал – кто его знает. Протоку будто нарочно кто-то перевязал и закрутил разнообразными по сложности узлами, потому что на километр видимого пути приходилось два или около этого по воде. Тундра тянулась на все четыре стороны и лишь где-то очень далеко на горизонте вздымались, как куски рафинада, сопки в снегу – там была твёрдая земля, другая природа и своя жизнь. Несколько раз лодка приставала к хлипкому торфяному берегу, и над нами начинали столбом виться комары. Трудно сказать, как чувствовали себя в этих местах первые землепроходцы, но мы спешили завершить дела на берегу как можно скорее и, почёсываясь, бежали к лодке.

Кроме обилия ископаемых богатств и прочих весьма положительных свойств, Камчатский полуостров располагает, по дружному утверждению всех учебников, очень выгодным географическим положением. Пожалуй, это было единственное, что нам не удалось прочувствовать. В остальном же всё верно. Камчатка, действительно, полуостров и, чтобы в том убедиться, не обязательно туда ехать, а довольно будет взглянуть на карту. Это огромный фигуристый кусок суши, обмакнутый в горько-солёный раствор Тихого океана и вобравший в себя такую массу воды, что весь он непрестанно сочится тысячами извилистых и запутанных протоков вроде той, по которой мы плыли. Зыбкая раскисшая почва прогибается под ногами, становясь летом вовсе непроходимой и будучи доступной только в зимнее время, когда кто-то, наверное, и удосужился вымерить по прямой расстояние от посёлка до Чёрной речки.

Деда Фомича Федя знал давно. Жил дед здесь лет тридцать, если не больше, а числился не то инструктором, не то инспектором по рыбному хозяйству, но скорей, всё-таки инспектором, потому что инструктировать, помимо собственной жены, Фомичу было некого. Могло быть, что Фомич имел кой-какие заботы в период нереста кетовых и роста мальков, однако времени свободного оставалось, наверное, много, так что ко всему он занимался также охотой: белковал, соболевал и считался удачливым медвежатником. Были у Фомича дети, да сызмальства жили в обжитых местах у родственников, а теперь повыучились и разъехались кто куда. Фомич же ехать к ним не захотел и остался на месте сам-два со своею старухой, которая отродясь ни по каким должностям не проходила и трудовой книжки не имела.

Не в пример троем чудаковатым англичанам, о лодочных приключениях которых написана целая книжка смешных рассказов, у нас приключения не хотели происходить: никто не свалился за борт, не сломался мотор, погода стояла на редкость безветренная и лодка резала зеркальную гладь протоки, как алмаз режет стекло. Людей и лодок нам навстречу не попадалось, а небесный свод, расписанный по синеве белыми пушистыми облаками, казалось, окончательно оградил нас своим прозрачным колпаком от всего, что было раньше. Вблизи нас бесстрашно пролетали утки, но бить их в эту пору было нехорошо, потому что они как раз выводили птенцов.

– Зверя во время гона, а птицу при гнездовании лучше не трожь, – сказал Федя, – а то счастья потом долго не будет. Он помолчал и добавил, обращаясь почему-то ко мне: – Проверено. Можешь не сомневаться. – Конечно, это был предрассудок, но предрассудок настолько симпатичный, что о сомнениях и речи быть не могло.

А один раз нам встретилось три гуся. Мы их заметили издали, и они шли точно к нам, никуда не сворачивая и совсем низко, будто звено штурмовиков над самой землёй. Затем послышался свист крыльев и мы увидели совсем близко их стремительную статью: изящно вытянутые шеи, черные носы и светло-серое оперенье. На нас это произвело такое же воздействие, как детская игра «замри», потому что нас тоже было трое, и мы замерли.

– Здравствуй, сто гусей! – очнувшись, закричал им вслед Костя, впадая неожиданно из дикости в инфантильность. Потом мимо нас проплыла большая рыбина, которую течением сносило к устью, и он встретил и проводил её долгим неотрывным взглядом.

– Рыба, – по-детски радостно воскликнул Костя, когда узнал знакомый предмет.

– Кижуч, – уточнил назидательно Федя.

Это была рыба из семейства кижучей, прожившая долгую и счастливую жизнь. В здешних водах она когда-то проклюнулась из икринки. Детство её прошло в этой протоке, а после она уплыла в Атлантический океан к берегам Южной Америки, где росла и гуляла лет шесть. За это время она не попала ни на сковороду, ни в консервную банку, ни в чрево хищного собрата. Но пришла пора нереста, и рыба отправилась в обратный путь. Протоку она нашла без труда и вошла в неё, сменив океанскую стихию на речную, но в пресной воде перестала есть, а всё плыла и плыла туда, где сама родилась. В верховьях протока мельчала, и рыба ползла по песчанику и гальке, почти наполовину выходя из воды. Вконец обессилив и изранившись, она достигла заводи и поняла: это – здесь. Тело не переставало ныть и чесаться, и рыба тёрла избитые бока о водоросли и о стебли прошлогоднего камыша. Там, в камышах, рыба встретила такого же, как она, запоздавшего на нерест самца и, сладостно шевеля жабрами, потёрлась о его чешую. Потом она, словно роженица, выметала икру, а самец выбросил молоки. Свадьба состоялась, и рыбы одели брачный наряд, то есть, истекли кровью настолько, что у хвоста кровь въелась в чешую. На этом рыбий век кончился, она уже ни на что не годилась, и её тело плыло в последнюю тихую гавань до первой чайки... Рыбья биография, рассказанная Федей, показалась нам интересней многих, которыми ведают наши отделы кадров.

Прокачавшись в лодке семь часов с лишком и перебрав в уме возможные вариации на тему старика и старухи у самого синего моря, мы охотно поверили бы не только в предрассудки,

но и в сонное царство, и в избушку на курьих ножках. Между тем, тундра кончалась. Низкорослый кедрач окаймил берега, становясь всё выше и гуще. Тихо проплывали поляны с обильной травой, которая тут вырастает за три-четыре месяца до чудовищных размеров. Протока стала мельчать, и лодка несколько раз проскрежетала неприятно, задевая килем кремнистое дно. Федя, пичкавший нас полезными сведениями в той мере, в какой мы проявляли любопытство, впервые подал голос по собственной инициативе:

– Теперь недалеко, – сказал он.

Лодка скользнула в заводь с широко разверстыми берегами, и мы увидели на юру не сказочную избушку, а крепкое подворье с воротами и заборами, с сараями, которые на полуострове называют стайками, и с рубленой избой при хороших окнах и красивых наличниках. На стук мотора вышел не таёжный детина и не шамкающий подслеповатый хитрован из псевдонродья, а невысокий, сухощавый и не старый на вид человек, хотя мы знали, что он, всё-таки, дед и что ему к семидесяти.

– Федя, – сказал он, узнавая лодочника, таким тоном, каким школьник прочитывает вслух заголовок стиха и ставит точку. – Ну, здравствуй.

Он поздоровался за руку с Федей, потом, молча, с нами. Фомич считал, что он – человек известный и лишний раз называть себя ему не стоит. А ехать сюда от посёлка было сто тридцать километров.

Мы с Костей были слегка разочарованы тем, что в избе не пахло ни овчиной, ни сапогами, ни прокисшей кашей. Рыбой тоже не пахло. Стоял бодрый и чуть терпкий дух, какой исходит здоровое оструганное дерево. Стены, пол и потолок были деревянные, а из мебели – стол в красном углу с двумя устойчивыми жёсткими лавками и стулья с неудобными прямыми спинками, на которых нельзя было сидеть скособочившись. В углу при входе висел шкаф для посуды, ещё один угол занимала кровать, тоже деревянная и широкая, как полаты. Вдоль стенки между столом и кроватью поместился сундук, вероятно оклеенный изнутри картинками, – на нём тоже можно было и сидеть, и спать. Четвёртого угла не было, а была вместо него русская печь, что занимала чуть ли не четверть комнаты и зияла отверстием и печурками и оттого казалась рассеянному взгляду глазастым чудищем с огромной пастью. Рядом, прилонясь к стенке, отдыхали ухваты, кочерга и прочие предметы, вышедшие из практики теперешнего домоводства. Всё было самодельное и напоминало, если не этнографический уголок, то, во всяком случае, своеобразную выставку патриархального житья-бытья, среди которого уживались батарейный приёмник, покрытый ручником с красными петухами, десятилинейная лампа, подвешенная к потолку над столом, и двуствольное ружье с поясным патронташем на стене у кровати.

В начале дороги Костя рассказывал, как он себе представляет дедово обиталище в медвежьем углу, и не угадал. Самое первое, чему надлежало сразу же нам в глаза броситься, должно было выглядеть так: сидит на печи бабка и натужно кашляет. Но бабка не сидела и не кашляла. Поздоровавшись, будто мы с ней не виделись со вчерашнего дня, она не спросила у нас ни имён, ни справок с места работы, а стала собирать на стол.

– Я-то гадала, Петро приплывя, – сказала она на ходу. – Сколь разов козу привезти обещаю.

Нас удивила мудрёная бесконечность фразы, но впоследствии мы привыкли к самобытной речи старухи. Она говорила «зная» и «узная» вместо «знает» и «узнает», а также «гуляя», «понимая», «помогая» и, верно, сама бы удивилась, скажи ей кто-либо, что она объясняется сплошными деэпричастиями.

Разговором прочно владел дед. Нам он на первых порах внимания не уделял и не спешил узнать, кто мы такие будем и зачем приехали, положась на опыт, что ежели с Федей, значит, свои, а кто мы и что нам надо, про то сами заявим. Пока Фомич расспрашивал Федю об общих

знакомых и новостях в посёлке, мы довольствовались тем, что сидели, слушали и разглядывали.

На берегу и во дворе вид у Фомича был довольно болотный. Но, сняв кацавейку и сменив сапоги с голенищами по самый пах на расхожие калоши, он сидел, положи ногу на ногу, чистый, аккуратный и даже с претензией на щегольство. Фомич относился к людям, которым их внешность так пристала, что её не может заменить никакой костюм новейшей моды, да и сами они в ином облачении будут стыдливо, словно от холода, поёживаться и чувствовать скованность. Наверное, как раз от людей такого склада произошла мысль, что человеку всегда надлежит быть самим собой. У мальчишек лет до тринадцати-пятнадцати эта сторона тоже развита подсознательно, но очень сильна неприятием праздничной одежды, в которой ни наземь сесть, ни на дерево влезть.

Фомич носил практичный серый пиджачок, такие же штаны, хозяйственно подлатанные женой, и рубашку тёмного, немаркого цвета. Глаза у него были мутноватые и выцветшие, какие бывают у стариков, но взгляд, живой и острый, вспыхивал поочерёдно с папиросой. Его оживлённость очень замечалась со стороны. Речь Фомича, усащённая разными словечками, не делала из него ни шута горохового, ни этакого краснобайствующего мужичка с подстрижкой под народность; совершенно напротив, это был серьёзный и своеобразный человек с мелкими чертами лица и подвижными морщинами. Такие лица художники любят писать карандашом с натуры, потому что они чрезвычайно интересны и с увлечением читаются. При всей словоохотливости слова у Фомича выходили самостоятельными и с достоинством. Может быть, он слегка хвастался и малость привирал, но, если подобные слабости охотникам, рыбакам и газетчикам прощают, то деду и подавно надо простить, приняв в зачёт, что он со своей бабкой прожил в тайге все тридцать лет и три года.

– Жизнь, – озаглавил вдруг свою мысль Фомич, повернувшись к нам. Он это сделал до того серьёзно и торжественно, что подумалось: ну, сейчас начнётся обсуждение всяких проблемных воззрений или, в крайнем случае, откроется конференция по одноименному роману знаменитого французского писателя. Вместо этого, старик разлил привезённый спирт в гранёные чарки и продолжил:

– Так и живём. А что? Не хуже других. Да. Потому что всё есть, – и показал рукой на стол.

Действительно, кроме охотничьей водки, папирос «Беломорканал» и спичек, всё остальное было хозяйское: хлеб домашней выпечки, картофель в мундире, квашеная капуста, балык, яичница на сале и отдельно сало, нарезанное бело-розовыми ломтями, корчага ряженки с зарумянившейся пенкой, сливочное масло в виде пирожков, свежая редиска, дикая черемша и, верх всего, миска, полная искрящейся малосольной икры, сильно похожей на красную смордину, омытую дождём.

– Тост, – провозгласил Фомич. – С прибытьём!

По желанию хозяина выпили «с толком», то есть, сдвинувши чарки. Костя сразу же потянулся ложкой к икре, я – тоже, сохраняя изо всех сил внешность «культурного товарища», а дед тем временем перечислил свою живность от упряжных собак до рыбы включительно, обойдя при этом бабкиных кур и кошек, о чём та ему тут же напомнила.

– Так не люди же, – сказал Костя и в голосе у него прозвучало тоскливое соль. – Ну, день с ними, ну два, ну неделю, а всю жизнь... надоест, скучно. – Видно, несмотря на икру, посёлок представлялся ему отсюда не грязноватым и насквозь пропахшим рыбой, а крупным хозяйственным и культурным центром и невдомёк было, как в такой отдалённости, будто в другом мире, живут двое людей.

– Скучно, – отозвался дед, как бы соглашаясь. – Это кому как. А ежели посмотреть, какая же скука? Красота одна. Природа кругом. Разве природа скучной бывает? В позапрошлом году был я в Питере. Вот уж где – чего только нет: и рестораны тебе с танцами, и кино, и пароходы... – Гуляй – не хочу. А воздух гнилой. И люди невесёлые, вроде спят на ходу. Как там

живут – тоже не пойму. Человеку что надо? Раз ты живой, значит, веселей ходи, а ложишься спать – подумай, чего тебе завтра делать с утра. Когда ты жизни своей сделал расписание, скука от тебя враз отстала.

– Так-то оно так, а всё ж таки общество, друзья, соседи, – упорно стоял на своём Костя.

– Ты насчёт разговора? – спросил Фомич. – Я ведь не один, а со старухой.

– С тобой поговоришь, – промолвила бабка. Все, кроме деда, засмеялись.

– А сейчас я что делаю? Тебе лишь бы языком, а нет, чтобы умственно, – укорил он жену и вернулся к беседе. – Общество. Вот вы с Федей приехали, а чем не общество? А там, глянь, другой кто приедет – тоже общество. Радио есть, – кивнул он на приёмник и похвалился, – дали как премию. Что на свете деется – знаем. Включишь, опять же песня там или какой разговор, хошь – понятный, хошь – непонятный. Я так больше непонятный разговор уважаю. Даже сколько раз себе на уме думаю, ежели бы всё время слушать, так свободно можно выучиться японскому языку или, скажем, американскому. Пришлось, болел я два дня, так всё слушал и, веришь, вроде бы уже понимать стал, да выздоровел, – с сожалением заключил старик.

– Вот видите, – заметил Костя, – заболели. А случись что серьёзное, здесь и врача неоткуда взять.

– Вра-а-ач! – сказал Фомич протяжно. – Да ты пойми, какие на природе болезни? Никаких. Потому как природа их враз душит. Теперь, правда, болезни пошли какие-то новые: инфаркт – во! – Он поднял палец и поочерёдно так всех оглядел, точно нашёл способ лечения всех сердечно-сосудистых заболеваний, – да ещё рак. Но я на свой лад соображаю, что эти болезни больше для учёных людей, а мы для них не подходим. Живём тут со старухой, дай Бог, тридцать годов, а не хвораем. Я-то всего два раза лежал, да и то – один раз медведь меня поломал, а в другой раз я под лёд провалился, простуда схватила, – и всё. Вот пусть старуха скажет.

– Пить надо было меньше, – сказала старуха.

– А с медведем что у вас получилось? – спросил я.

– Обыкновенно. Не надо было мне его трогать, шибко серьёзный зверь попался. С норвом и, видать, уже стреляный. А я его задел. Ну, и попортил он мне пару рёбер, да я на него не обижаюсь. – Начав за упокой, Фомич кончил за здравие, как будто у него было, по меньшей мере, сто рёбер, а причинённое увечье – сущий пустяк.

Заметно было, что живётся на отшибе ему не просто и по людям скучается. Оживлённость деда и разговорчивость казали только лицевую сторону его житья, а изнанка угадывалась в частом одиночестве и в длительном молчании. Он был рад нашему приезду и теперь спешил выговориться. По интересу беседа была общей, но говорил один Фомич и между делом ловко отбивал наши реплики.

Удивительной была детская простота его речи вперемешку то с наивной ошибочностью, то с глубокой и точно выраженной мыслью, как случается, когда человек до всего доходит своим умом. Он переходил от одного суждения к другому с неторопливой убеждёностью давно сложившихся в нём понятий. Выражение его лица придавало словам особую окраску, какую приобретают стихи, становясь песней. Если мысль его не вмещалась в несколько фраз, он, по обыкновению, делал к ней заголовок. Вообще, события этого дня могли бы походить на кинофильм, в котором действие развивается и само по себе, и по желанию публики, если бы в кино можно было общаться с персонажами на экране.

Напрасно выпустил Фомич на экран медведя, ломающего ребра и снимающего скальп, потому что охотник был тут как тут. Он отложил ложку и, как следует прицелившись, ударил дуплетом:

– Ну, и как, – убили? Вы подробней, подробней...

– Убил, убил, – поддразнил Фомич Костю и вдруг, сощурившись на него пристально, спросил: – Слушай, малый, а ведь тебе, чай, не терпится шкуру сымать, а? – Федя несдержанно засмеялся. Дед стрелял навскид, но лучше, чем Федя. – Он уже был почти убитый, да ещё я

его из-под низу ножиком достал. Так на мне, бедолага, и кончился. А что делать? В таком разе, знаешь, и самому пропадать неохота, – оправдывался старик.

Костя признался. Да, хотелось ему достать хорошую шкуру. Домой написал, что привезёт. Теперь скоро возвращаться, а без шкуры неудобно. За тем и к Фомичу приехали. А за ценой он не постоит.

Фомич сожалеюще причмокнул языком.

– Оно, конечно, так сказать, – начал он какими-то казёнными словами, – семья там и прочее. Только зря вы приехали, потому как я с этим делом порешил.

– Как, то есть, порешили? Бросили, что ли? – не поверил Костя.

– Ну да, бросил.

– А что ж так? Опасно? Или года?

– При чём тут года? Года терпят. Образумился на старости. Третью зиму мишек не трогаю. Жалко мне их, вроде, совесть. Прошлой зимой военный генерал с холуями на вертолёт прилётывал. «Давай, – говорит, – веди, где лохматый спать залёг; ты, – говорит, знаешь». Посмотрел я на него, говорю: «Шукайте сами, товарищ генерал, коль вам приспичило, а я к вам в егеря не нанимался». Ух, кричал на меня. «Уволю! Выгоню! Начальству пожалуюсь!» Сердитый. А мне его сердце, как прыщ на... сейчас не война. Их, мишек, и так вскорости всех переведут. – Дед сокрушённо махнул рукой и начал пересчитывать, сколько медведей подвалил за год Прошка Грамотный, да сколько Петька Косой, да начальство из области – тоже охотнички...

– Это он после Кати такой стал, – пояснила старуха. – «Противно», – говорит, – «не пойду боле».

– Какая Катя? – спросил я. – Дочь, что ли?

– Медведиха тут при нас долго произрастала, Катей звать...

О медведях мы начитались всякой всячины и довольно наслушались былей и небылиц: о сороковом медведе, о медвежьей этике, об их чрезвычайной понятливости и, вообще, чёрт знает о чём. Костя заскучал лицом и с раскаянием полез пятерней в бороду.

– Так вы, значит, больше не охотитесь? – спросил он невыразительно.

– Почему не охочусь? Хожу. Только охота, она какая? Пару уток – это можно, да и то, рано по весне или к первым заморозкам, когда бессемейные. Или зверь какой злобный попадётся, опять же – можно.

– Волк, к примеру, – вырвалось у меня.

– Волк! Волк, он тоже разный. Встречал я одного. И вышел он ко мне напрямик. Ружье у меня, как след, под рукой, а он, знай себе идёт, вроде задумался. Полено вниз, голову свесил и не спешит. Ах ты, ясное море, думаю, куда ж ты прёшь на самоубой под заряд? Однако, не шумлю, жду, что дальше будет. Остановился он, не доходя шагов пять, посмотрел. Гляжу, какой-то он чудной, и глаза печальные, будто душа у него стенил. Ему бы язык, так, небось, и сказал бы: «Бей меня, дед, потому что теперь мне всё равно». Рисковый зверь и из себя гладкий. Стало мне сумно ружье держать. «Проходи, – говорю ему, – своей дорогой». А сам ноги дома забыл, до того глаза у него, как у меня или у тебя. Он и пошёл. А я так думаю: что-нибудь у него такое случилось. А как стрелять будешь, ежели зверь душевно страдает? Я его потом встречал. Признал.

– Это как понимать, – признали?

– А так и понимай. Оно только на вид сдаётся, что раз звери, так все одинаковые. А у них у каждого свой сучок, своя примета. Людей они тоже узнают и запоминают, какие опасные, какие – нет. Очень просто, потому как всякий человек по-своему пахнет.

Фомич рассказал ещё такой же случай с оленем, который был «страсть какой бедовый и красивый». Любопытно, что в его рассуждениях всегда присутствовала природа и не безучастно присутствовала, а одухотворённо и очень деятельно. Он то и дело говорил: «на при-

роде», «с природой», «потому что природа», дерево у него болело и страдало, когда его ломали и увечили, рыба обжигалась воздухом и теряла сознание, медведи думали, волки понимали, утки соображали и всё в таком роде, будто ему и вправду выпало счастье подсмотреть, как в ночь на Ивана Купала папоротник цветёт.

Старухе в его рассказах отводилась роль свидетеля, потому что ни на кого больше Фомич сослаться не мог. В подтверждение правды он говорил: «Пусть старуха скажет» или «Вот бабка моя не даст соврать». Изредка по забывчивости, а, может, и нарочно, дед приглашал её свидетельствовать такие события, при которых присутствие бабки либо вовсе исключалось, либо было не совсем уместным.

– Придумая тоже, – махала она на деда рукой и смеялась вместе с нами или незло бранилась, а Фомич её подзадоривал.

Долго тянутся северные вечера. Солнце часами летит над горизонтом, как птица-жар, и садиться не хочет, а когда, наконец, сядет, то неглубоко. Оттого и ночь – не ночь, а вечерние сумерки почти до утра. Время от времени хозяева выходили ненадолго по хозяйству и возвращались, но дед, казалось, выговорился и в голосе у него появилось раздумье и ожидание. Он встрепенулся и приободрился, едва Федя напомнил ему о медведице. Так как вспоминать Фомичу было удобнее с самого начала, то он наполнил чарки заново, выпил со всеми, понюхал хлебную корку, закурил и озаглавил самый длинный свой рассказ.

– Катя, – сказал он, отметив точку паузой.

Сперва Фомич вспоминал давность случая и насчитал, что дело было около шести лет назад. Он тогда собирался пораньше сходить за дичью на Третье озеро, но замешкался, а когда из дому вышел, солнце уже стояло вполдуба. Он назвал поляну, мимо которой мы проплывали, и мы согласно кивнули: знаем, дескать.

– Я когда в тайгу либо другой раз в тундру выйду, так меня диво берёт: до чего же природа всё правильно устроила. И всякому у неё своё место: что птице, что рыбе, что зверью. Людям бы тут жить, а не по городам гуртоваться. Но, видать, мало ещё людей на свете, которые с правильным понятием. Приедут, посмотрят, поторгуются, «эх, красотишшша» скажут и укатят. А житье здесь раздольное. Всего хватает, коль с разумом в дело производить. Трава – будто кто её сеет, дикой птицы – тучи, лесу – сколько хошь. В общем, жить можно. Есть, правда, вредные люди, которые про себя говорят, что они цари природы. Такого сюда пусти на жительство, так он всё дочиста переведёт: зверя уничтожит, рыбу потравит, а тайгу вырубит. Потом он, конечно и сам ноги протянет, но под конец догадается, что никакой он не царь, а так, глупость одна.

Иду я и таким манером размышляю. А мыслей у меня хватает. Чуда в том никакого нет, потому как ежели языком не с кем чесать, то сам с собой рассуждаешь, оно – и мысли всякие берутся. Выходит, вишь ты, очень это полезно, понимать много начинаешь. А у учёных людей разве не так? Так. Потому, раз он учёный человек и какую полезную штуку придумывает, то ему больше требуется самому с собой разговаривать, а не на людях. Как мне вот.

Вышел я к увалу, аккуратно где протока в тундру забирает и шагаю, не сторожусь. О себе, стало быть, даю знать, что иду. Только примечаю: ветра нет, а кедрач в одном месте ходуном ходит. Остановился я, стою тихо. Заяц, думаю, или другой зверь какой, так затаиться должен, для того я и знак о себе подавал. Кедрач дрожать перестал – трава заволновалась, как что круглое по земле покатилося, да разве угадаешь что? Трава, сами видали, какая – не проглянешь. Но что-то живое, потому как поверх травы стежка прямо ко мне бежит.

Ружье я на случай снял. А стежка-то так и стрижёт, ближе, ближе и за сапог меня – цап! Глянул под ноги – щенок медвежий, сосун, месяца четыре ему, не боле. Оторопел я малость, было отчего. Нет такого, чтобы при сосуне матка не состояла. А в ружье у меня впору на гусей патроны бекасиными набиты.

На медведиху с дитём невзначай выйти – хуже нет. Тут или давай Бог ноги, или не дай Бог осечки. Медведиха за своего щенка сама без приглашения встречь пуле пойдёт и кто-то из двоих на месте должен остаться. Больше, понятно, зверь остаётся, но случается, что и охотник.

Матку с детьми я в жизнь не замал, потому как приплод начисто пропадает. Встречу, бывало, матерую с малыми, голос подам, они и уходят. Ну, а в таком разе, оно ведь и самому пропадать неохота. Переломил я, не глядя, ствол, сам от кедрача глаз не отвожу, патроны с дробью намазок повыковырнул, рукой в пазуху слазил (я там жакан держу всухе про запас) и опять же гляжу на кедрач, жду, чего дальше. Патроны в ствол, курками клацнул. Тут уже я осмелел, а чтоб медведиха показала, покричал в голос. Я, мол, тебя не боюсь и сам ишу. Ждал-пождал – никого.

Внизу щенок мне в сапоги тычется и прочь не идёт. Несамостоятельный, страху в нём никакого нет, потому как ничего пока не понимает. Пнул я его ногой – он покатился кубарем и обратно ко мне. Я его вдругорядь: «Пошёл ты, – говорю, – вон, а встренься к зиме годка через четыре». А кутёнок настырно лезет и скулит, есть, видать, просит. Взял я его на руки – лёгкий он, как кошка, и всё носом тыркается. Медвежата рождаются маленькие, смотреть не на что, и до полгода мало растут. Ну, мне-то что делать было? Бросить ежели – пропадёт, потому как несмышлёный и никого досель кроме родной матери не видел, домой взять – мороки не оберёшься. Одна беда, что я его на руки взял, а потом уже соображаю, что бросить мне его никак невозможно. Это – как ребёнка ни про что побить. Раз так, думаю, то чёрт с ней, с дичиной, перебьёмся. Повернул оглобли и – домой.

Что случилось с медведихой, не знаю. Может, отбился щенок от матери в тайге и заплутался по глупости, а может, кто осиротил. Скорей всё ж таки подбили матку. Навряд, чтобы взрослая пацану своему заблудиться дала. А там – кто ж его скажет. Всяко случается.

Принёс я кутёнка домой. Бабка моя поворчала, ну – это дело такое женское. Ворчит, оно, вроде, и занятие. Парного молока ему дали. Пить из посуды не умеет, но голод – не тётка, надо пить. Вывозился он как анчутка, а напился-таки. После молока посогрелся и в углу на тряпке заснул. Так и остался в хате. А ещё оказалось, что медведик был женского пола.

Пожил он в избе, ознакомился, где что, а через неделю-другую такой стал свойский, будто и нашёлся тут. Спать когда захочет, к бабке в подол просится, живое тепло ему, вишь ты, требовалось. Уляжется, чисто дитё малое, поурчит-поурчит, с тем и заснёт. Интересно, что до сладкого страсть какой был охотник. На сон всегда у бабки сахару либо конфет просит. И ест не сразу, а малость под языком подержит, почмокает, пооблизывается, а потом уже съест. Однако не шкодливый и ласковый тоже.

Сам я больше где-нито бываю, а медведик с бабкой. Сперва его кошка и куры били, так он всё с хозяйкой норовил: куда она, туда и он. Соображение, значит, такое имел, что хозяйка за него заступится и в обиду никому не даст. И к науке у него способности появились: сразу взял в толк, что на двор надо в сени ходить, и вообще чистоту любил, как он и сам опрятный зверёк.

Кормили его молоком, потом стали давать, что сами едим: и борщ, и рыбу, и картошку. Медведь всё то же, что и человек ест: хлеб, мясо, молоко, овощ всякий. И по характеру медведь к нам близко подходит, так что правильно в других государствах подметили: ежели медведь, так и – русский. А собаки к щенку долго привыкали. Увидят – шерсть у них торчмя, рычат, лают, бесятся. А трогать – не трогают. Вот поди ж ты! Должно, у собак своё понятие есть, чтоб малого не обижать, будь он хоть кто.

К зиме на медведика одурь нашла. Аккурат в это время медведи хвою жрут до отвала и в горку поднимаются, а там уже залезают в логово и спят до весны. Вот и наш стал вялый, ел мало, больше спал. Я-то его в зиму почитай что и не видел. А по весне смотрю – сам себе не верю: щенок-то наш – не щенок, а цельный пёс. Уже не то, что куры, а и собаки к нему уважение поимели и рычать перестали. Стал он самостоятельно по двору ходить и в тайге неподалёку

гулял. Я прямо удивлялся, какой дикая тварь разум имеет: всё наперечёт хозяйство знает и вреда никакого не творит. В хате резвится – ничего не зацепит. Вот тебе и косолапый!

И вот примечаю я, что старуха обо всём с медведем разговаривать стала. Ну, понятно, от меня какой толк? Так она с медведем. Со мной полагается – медведю расскажет, начнёт вспоминать что – тоже рассказывает или песню какую сыграет, а медведь её слушает. Зверь всегда уважает разговор и по голосу точно догадаться может, что ты делать собрался. И чуткость насчёт человека зверь крепко держит: когда отойти, дорогу дать, а когда пожировать, побаловаться. А почему так? А потому что зверь характер человеческий понимает.

Мы когда с бабкой беседуем, медведь возле на полу лежит и интересуется, слушает. Но у нас, дело известное, какой разговор? – так. Я на неё – Катерина, она на меня – Фомич, и всё. Пошла как-то она в огород картошку окучивать, а я во двор вышел позвать. Да плохо, видать, покричал. Сажу в хате, жду, когда моя старуха зайвится, смотрю: медведь в хату – шасть! – и сел на порожках. Сидит, смотрит, сейчас так прямо и скажет: «Чего звал? Говори, да поживей, а то мне особо некогда». Рассказал я про это бабке своей, посмеялись мы, да в добрый час так и нарекли медведиху Катей. Стало в хозяйстве у меня две Катерины: одну позовёшь, непременно обе заявятся.

Ела наша Катя порядком и шибко росла. Припаса у нас хватает, можно не то что одного, – десяток медведей прокормить. После нереста столько рыбы остаётся, что – моё почтение; и свиньям, и собакам, и медведю хватит. Да ещё картошка, отходы, трубуха разная. В общем, возрастала Катя и вымахала за два года поболее телёнка. Держать медведя в хате тесно, и определил я её в стайку. Сена там вдосталь, а через стену коровник. В стайке она и прижилась. Днём с бабкой, а как смеркнется, к себе идёт. Из живности она особенно корову привечала. С того и день начинался: бабка поутру с подойником к корове, а Катя её уже дожидается. С бабкой заходит, сидит тихо и нюхает. Аппетит, должно, нагуливает. От коровы-то дух какой? Самый благородный: что молоко, что сено, а хоть и навоз взять, какую он тебе даёт память, как ты его на нюх поймал? Дымом из печки пахнет и жильём человеческим, а ты глаза зажмурил и дышишь, вроде заблудился и из мочи вышел, но спасение твоё близко, и ты его носом чуешь по ветру... Так что коровник для Кати был, как одеколон для людей. А свиней не любила и на старуху обижалась, что та с ними знает. Гляжу, взяла бабка помои и понесла свиньям. Потом, слышь, разговор со двора. Ага, понятно, уговаривает, значит, одна Катя другую, чтоб та её в свинарник допустила.

К собакам она была – так себе. Оно и конечно: враждебные от роду звери. Однако ни Катя собак, ни собаки её не трогали. Да и трогать её было поздно. Зато к малому очень осторожность показывала. Куренка, бывало, сперва носом отпихнёт, а потом лапой ступит, – а как же!

Стал я и другое замечать: вырастает зверь. Лапищи у него пошли с когтями, клыки. К такому зверю надо с оглядкой подходить, а не то он те так приласкает, что не встанешь. Как погляжу на медведиху да на старуху, так и забоюсь. Идёт она с бабкой рядом, как гора, да ещё играет, вроде толкнуть норовит.

«Слушай, – говорю, – Катерина, дело серьёзное. Больно выросла медведиха. Бить-то её, понятно, рука не наляжет и прогнать не прогонишь, а делать что-то надо. Давай-ка мы её в посёлок спровадим, а там в Питер или во Владивосток. Ей теперь одно место, что в зверинце в клетке. Рублей полста за неё смело дадут». А старуха моя: «Ты, – говорит, – Фомич, супостат, ежели вольную тварь за деньги сбыть хочешь. Это тебе, – говорит, не лошадь или корова, а животное, как ты и я, с понятием. Не дам, – говорит, – и конец». Я ей в сердцах: «Да как же, – говорю, – дура-баба, ежели она тебя по хребту погладит, мне что тогда, – одному пропадать?» «Ничего, – говорит, – со мной не подеется». «Как, – говорю, – не подеется? Ты, – говорю, – глянь на неё, как она глазищами зыркает». А медведиха, вправду, возле бабки улеглась и к полу жмётся, будто меньше показаться хочет, а сама то ко мне, то к старухе глазами водит. Бабка мне: «Ты, Фомич, меньше на неё зенки пяль. Зверь не любит, когда к нему кто без спросу в

душу лезет. У Кати характер хоть и добрый, да свой, бывает ей хорошо, а бывает и худо. Что ты про неё тут баишь, она всё понимает и долго теперь будет на тебя в обиде».

И то правда, не любят звери прямого взгляда. Это у них считается вроде, как нахальство. Я сам сколько раз испытывал. Идёшь по тайге, видишь, – волк или медведь, или олень – неважно кто. Но ты видеть его не моги, а краем глаза наблюдай и начинай что-либо делать: садись, кашляй, закуривай, стучи по дереву или песню заводи какую. Главное, что ты, как будто, ничего не замечаешь. Тогда зверь за тобой наблюдать будет сколько тебе захочется и подумает тоже: «Ну, до чего культурный и обходительный человек мне сегодня попался!» А как ты на него чуть глянул, так он сразу в кусты. Вообще большое любопытство и уважительность зверь к человеку имеет. Промеж собой они тоже редко в глаза глядят, разве когда дерутся. Почему нельзя смотреть? Можно. Только, ежели зверь знакомый и знает уже, что ты пагубы ему не сделаешь. Тогда разрешается. Он даст тебе на себя посмотреть, а ты посмотри и глаза в сторонку убери, чтоб, значит, он тебя тоже облюбовал.

Глянул я на медведиху, так не поверите, до чего мне не по себе стало. Смотрит на меня зверь дикий, но без зла смотрит, а с обидой. И привиделось мне, что Катя всё до словечка поняла, как я про неё говорил, и вот-вот заплачет. Старуха её утешила, сахару дала. «Иди, – говорит ей, – Катя, спать и ничего не бойся». Медведиха пойти пошла, а от сахару отказалась. Вот и понимай, как знаешь: «Мне, мол, после такого обидного разговора никакой сахар не будет сладкий».

С той поры стала Катя меня чураться. Встренёмся с ней, она отойдёт, дорогу даст, а не глядит. Опять же понимать надо, что она знать даёт: «Хоть я, мол, и подчиняюсь тебе, как ты есть хозяин, а душевно с тобой не могу». Зато с бабкой стали – водой не разольёшь. И чего только старуха с ней не делала: и занозу ей шилом из лапы ковыряла, и всякий мусор таёжный из шерсти выбирала, и в пасть руками лазила. И до того ей зверь покорялся, что хоть дрова на нём вози.

Хотел я с бабкой секретно поговорить, чтобы хоть ветеринара из посёлка пригласить и медведихе клыки с когтями чуток притупить, да раздумал. Будь, думаю, что будет, раз дело такое. Старуха тоже переменялась, всё больше у неё Катя на уме. Прихворнула, случилось, Катя, так моя полночи ворочалась, пока я не осерчал. «Шла бы ты, – говорю, – Катерина, в стайку жить. Боюсь я, что ты, сердешная, до утра не выдюжишь без твоего чуда-юда».

Но вообще, жилось нам с Катей весело. К зиме она шубу новую справит, в тайгу пойдёт и хвойных иголок наестся. Потом домой вернётся и заляжет в стайку спать. Спячка у неё была короче, чем обыкновенно у медведей, потому что хозяйство наше: собаки лают, корова мычит, куры горланят, – какой тут сон? Зато к весне мишки из берлоги встают худые и облезлые, а Катя справная, гладкая, шерсть на ней блестит, ну – глаз не отведёшь, до того видная из себя.

Прожила у нас Катя без малого три года и стала совсем взрослой. В хату войдёт – свет застит, а повернётся, как по струнке. На воле побежит ежели, так на мотоцикле догонять. Купаться каждый день привычку имела ходить. Вода в заводи и летом ледяная, кости ломит, а ей нипочём. Плывёт быстро, одна голова над водой. На мель вылезет и давай лапами по воде брызги поднимать. Глядишь на неё издалека, бывало, красуешься.

Одна беда: скучать стала и задумчивость у неё появилась. Бабка догадалась сразу: «Скоро, – говорит, – Фомич, Катя от нас уйдёт. Время ей пришло». Потом, слышь, с медведихой говорит: «Скоро ты, Катя, кинешь меня, в тайгу пойдёшь дружка искать. А ништо, милая, ништо, погуляй, Катя, на воле. Семейство заведётся. А что делать? Доля такая».

И натурально, стала Катя из дому отлучаться. Уйдёт и гуляет в тайге день, а то два. Вернётся, поживёт, опять уйдёт. Уже, глянь, с неделю проходит. Ну, вольному воля. Под осень её почти месяц не было. У нас со старухой думки всякие невесёлые: то ли её, упаси Бог, подвалил кто или что приключилось. А она пришла. Последний раз, правда, но пришла. Попрощаться, значит, за хлеб-соль и за житье.

День дома побыла, а к вечеру собираться стала. Вышли мы её провожать, а уж она-то к бабке ластится и головой мотает, как поклоны кладёт. Потом пошла нехотя. Идёт-идёт, станет, назад обернётся и ворочается. И всё к старухе. Так до четырёх раз. Бабка моя слёзми изошла, причитает, у самого тоже сердце свербит... И пошла Катя. Отойдёт малость, остановится, голову опустит, думает. Но уже не оборачивается. И так сколько раз, пока вовсе не скрылась. Какую душу зверь имеет, а?

Остались мы со старухой одни. Скучно в доме стало, вроде кто из семьи надолго уехал. Как про что разговор затеем, так тем часом и Катю помянем. Ну, дело наше, известно, стариновское, а что было, былём покрылось. Так и жили. Годам к трём мы уже вовсе успокоились и ничего такого не думали. А оно как раз и случилось. Аккурат под Спасов день.

Пришёл я в тот раз от рыбы домой, обсушился. Сижу. Бабка стряпает. Слышу, вроде кто-то за дверь цапнул. Потом ещё, этак с протягом. Собак не слышать, жируют на воле, во дворе всё тихо. Вышел я в сени и без опаски дверь открыл. Гляжу – ясное море! – медведь матёрый на дыбки встал, света белого не видать, а он стоит во всю дверь до стрехи до самой. Тут у меня язык отнялся: стою чуть живой, слова не могу сказать и с места не сворохнусь. А медведь на передние лапы бухнулся, меня в сторону оттёр, а сам в хату.

В крайний момент оробеть – последнее дело, потому как ты уже сам себе не хозяин и сила из тебя вся вышла. Вот и я перепугался так, что сроду со мной такого не было. Стою ни живой, ни мёртвый, а мысли у меня вразбег пошли и ни одной при себе не осталось. Показалось мне и солнце в копеечку, и небо с овчинку, и чего только не показалось. Опомянулся я при бабкином голосе. Зашёл, слышь, в хату – опять наваждение: бабка медведя обнимает, в гриву ему уткнулась, сама плачет и приговаривает: «Катя, чадушка, Катечка, милушка, души не чаяла свидеться. Вот спасибо, – не забыла меня, старую, вот спасибо!» А медведь старается, шею ей вылизывает да лицо, да руки и ворчит легонько. Но я уже вспомнил и тоже в голос вошёл, потому как догадался, что кроме Кати больше у нас быть некому.

Меня-то? Признала, как же. Обнюхала всего, дыхнула. Звери, они по запаху признают, и всякая живность на свете для них состоит особо. Ну, мне-то много не надо. Признала – и будет, и на том благодарность.

Что тут поднялось! Бабка по хате мечется, а Катя то постелется возле неё как полость, то вскочит как гора да заурчит на радостях. Не успели мы в разум войти, глядь! – двое щенят медвежьих в хате. Точь-в-точь, как я Катю впервой нашёл, а может, разве что чуть поболе. Оказывается, она к нам со всем приплодом заявила.

Старуха вовсе ополоумела, кричит: «Катя, детки-то, детки у тебя какие пригожие. А уж похожи, ну прямо – вылитая ты. А живёшь-то как, Катечка? Ну, дай Бог, дай Бог. Да что ж мы так?.. Фомич, чего стоишь? А ну неси балык, какой есть в чулане, да сахару кускового поболе, гостей дорогих...»

Чулан у нас во дворе, держим там всякий продукт, что холода не боится: муку, мясо, сало, сахар тоже. Из хаты вышел я свободно и совсем уже в своей норме, а оно опять, чтоб тебя... Мишка. Откуда он взялся, шут его... Ежели супруг, так не паруются они надолго и мужиков своих вскорости прогоняют, а этот... Да ещё злой, паразит. Ну, думать время не показывает: пришла беда – отворяй ворота.

Еле я успел в чулан заскочить и на пробойник дверь взять, а уж он вслед ломится. Ну, это, брат, шалишь; дверь я делал крепкую, доски в ней – разве что пуля возьмёт. От шатунов ставил, чтобы порухи не было. Шатун? Тоже медведь. Который опоздал спать лечь в берлогу, а потом уже нельзя было. Этот опасный, потому как голодный. Бывает и людям от него разор, ежели к припасу доберётся. Такого я бью без жалости в любой час...

Опять же испуг меня схватил. Дышу, аж сердце заходится, будто километр без роздыха бежал. А до чулана всего чуть поболе десяти метров будет. Вот что страх с человеком может сотворить. Страх, он такой, что хоть кого опозорит... А как вспомнил я, что медведь в хате

может до убийства дойти, так и вовсе мне худо стало. «Катерина, – кричу, – закрывайся скорей!» Но бабке моей навряд слышать, а Катя услышала.

Сперва щёлки в двери засветились, перестал мишка свет загораживать. Смотрю дальше. Вижу, Катя его плечом толкает, а тот задом от неё. Нехотя, правда, и вроде как отговаривается, но не спорит. Отойдёт на шаг-два, а Катя его плечом! плечом! Так на середину двора вытолкала и повела прочь: сама первая, а он за ней. Уже я в таком разе из чулана вышел, смотрю на них – ничего не пойму: Катя могучая, как корова, а этот паразит рядом с ней, как собака, – вот так мужик! Потом сообразил, что пестун это, сынок от первого выводка. И рост у него, – как раз людям на ярмарке бороться смеха ради. Ему бы добрый подгопник, он бы и сам убрался, а я оробел без памяти. Одно слово: страх, большие глаза... У медведей такой есть случай, что содержит matka при себе кого-одного из старших детей за меньшими присматривать, и прозывается он пестуном, ну – нянька, вроде. И при Катиных, выходит, тоже один такой состоял добросовестный.

Зашли они в кусты, потом в тайге скрылись, ничего видать не было. Должно, Катя его по-своему ругала, а то, может, побила, чтоб не принародно. Они все страсть как боятся матку, особенно, ежели она с детвой. Медведь и в человеке признает, что, ежели сказать, баба в женских тягостях, так он её нипочём не тронет.

Воротилась Катя одна. Кутята её в хате возятся, как ничего и не было. Бабка мне говорит: «Ты погляди, Катя-то смеётся. Это она, Фомич, не иначе, как с тебя». Присмотрелся, что ты скажешь! – смеётся зверь. Смеётся как? Обыкновенно. Олень, к примеру, во время гона часто смеётся. Собака хвостом весёлость передаёт и глазами, само собой. У волков самый короткий смех и редко они смеются. А медведь головой вертит и вниз глядит, чтобы кого случайно не обидеть. Но всё ж таки нет-нет, а глянет на то, от чего его смех взял. Вот и Катя на меня тоже так глядела. Смешно ей было, как я на старости лет кости себе размял.

Погостила у нас Катя часа три и пошла. Через пару дней опять наведалась, но уже без своего пестуна. А потом часто приходила. Кутят бабка сахаром повадила, да и Катя смалу его любила, так весь наш сахар и... да! Ну, была оказия, привёз нам Николка Пахомов ещё рафинаду...

Крепко западает добро зверю в память. Припомнила Катя всё, как есть: в стайку свою сходила, а я туда дрова сложил, пришлось выкинуть. В коровнике посидела. Опять с бабкой из-за свиней ругаться стала. Касательно своей жизни ни в чём от нас не таилась, покажет, бывало, вроде как расскажет. Видели мы со старухой, как она своих малых купает. Сперва сама в воду заберётся и ждёт, когда детвора полезет. Те боятся и не идут, а топчутся близ воды. Надоест Кате ждать, поплавает сама, искупается. После на берег выйдет, отряхнётся, пацанов своих по очереди загребёт и, вот ей-бо, как мать дитё по одному месту – набьёт! набьёт! набьёт! и в воду поспихивает.

Думали мы, что из-за нас могла у них нянька отбиться на сторону, потому как долго не видели. Но бабка сказывала, что всё у них благополучно и семья целая. Она в тайгу за жимолостью ходила. Варенье из жимолости – первый сорт и при кашле лучше, чем малина. Там она их всех и встретила: медведи большие охотники до ягод. Позвала бабка Катю; та – к ней, а пестун – от неё, как черт от ладана, только треск пошёл. И пришлось старухе лишний раз за жимолостью идти, а что тогда набрала – всё скормила.

Осенью пришла Катя прощаться. Одна. Детей, видать, со старшим оставила. Так оно, конечно, легче. И опять, как в прошлый раз. Бабке слез на неделю хватило, ши стала подавать пересолённые, мне тоже тоска, лишь вспомню, как идёт Катя от нас и печалится. С того и перестал я их трогать. Жизнь у медведя и так намного людской короче. Пускай себе, думаю, живут. А тут ещё с Катей у нас родство повелось, так мне и вовсе нельзя их преследовать. Забот прибавилось: хожу теперь в тайгу подале на случай каких охотничков. Да и то хорошо: хата у меня, что твой кордон, мимо не проскочишь. А Катю теперь ждём, надеемся.

Я всё мечтаю: вот бы учёного человека встретить, который науку доподлинно изучил и точно может сказать, видят звери сны, когда спят, или нет? По-моему, должны видеть. Ежели, к примеру, Кате какой сон приятный снится, так это про бабу. Как, вроде, бабу с огорода идёт, а медведиха с ней рядом...

Редко бывает погода на Камчатке, но уж если выдастся, так на диво: днём всё к солнцу тянется и блестит, смеясь, а ночью деревья в тайге шепчут листвой друг дружке разные сказки и всякую бывальщину про то, как когда-то очень давно Иван-царевич на сером волке по лесу скакал здешнему мимо вон той старой пихты; как рыбка золотая, жившая в протоке неподалёку отсюда, разговаривала человеческим голосом и как один добрый человек нашёл тут маленького медвежонка месяцев четырёх, не боле...

На другой день Фомич утешал Костю: – «Да ты, слышь, особо не тужи. Коль уж тебе так шибко шкура требуется, заверни к Петьке Косому. Это недалече, вёрст семьдесят по воде всего. От меня, значит, вёрст тридцать вниз по протоке, да влево свернуть – Федя знает – и ещё чуток побольше. А у Петьки есть. Он не брезгует.

Нам сразу же не понравилось, что Косой не брезгует. Чувствовалось, что старик говорит о Петьке со сдержанной неприязнью и оттого часто поджимает губы. Мы стали дознаваться и из отрывочных объяснений Фомича поняли, в чём дело.

Этот самый Петька Косой оказался тоже инспектором и охотником. Случилось ему убить медведя. Медведь был больной и лечился в теплом ключе, а Косой там в грязи его и застрелил. Это было, что против правил, что не в сезон, и Косой торопился «раздеть» зверя. За этим занятием и застукал его Фомич. С тех пор Косой старательно избегал Фомича, а старик прозвал его душегубом.

– Ну, экземпляр, – пропел Костя, когда мы с ним вышли в тайгу размяться. – Ты только подумай, Жан-Жак Руссо какой на болоте вырос! И ещё, знаешь что? Либо мы с тобой вконец испорченные люди, а этот старый хрыч – эталон бытия, либо... Я так полагаю, что напротив. Где он был? Самое далеко – в Питере, а Владик – это уже такой край света, что дальше ничего нет. А видел что? Ёлки-палки, лес густой да медведей с волками. Нет, меня на эти побасенки не возмёмшь! Ты как хочешь, а я не верю. И шкуру себе всё равно добуду, хоть у Косого.

К большому удовольствию Феде мы пошли с ним и быстро нарезали кучу берёзовых веток. Навязав сотни полторы хлёстких пахучих метёлок, мы снесли их в лодку и уложили, выставив днище несколькими рядами. Федя заметно подобрел и смотрел на нас совсем ласково.

– Ничего, – ободрил он Костю. – Справим тебе шкуру. Я этого черта Косого знаю. Хитрый, зараза. Всё норовит дерьмо загнать. Как к нему приедем, вы, двое, помалкивайте. Особенно про то, что у Фомича были, – старик у него не в почёте. А я с ним договорюсь.

За обедом Костя улучил момент и, будто невзначай, спросил:

– Фомич, а Фомич, а вы помимо Камчатки ещё где-нибудь были?

Старик внимательно посмотрел на Костю и сказал:

– А ты неправильно меня понимаешь, мальй. Думаешь, старый п...н, ничего на свете не видел... Да ты не стесняйся! Я ж тебя отсюда очень хорошо наблюдаю... Как не быть? Был. В Москве был, в Ленинграде. В Мурманск ездили со старухой, сын у нас там живёт. Красивый город Мурманск. Ну, ещё на войну ходил, повоевал. Ты в Варшаве был? А я был. В Берлине тоже был. Город Магдебург видел, другие города тоже. Американцев знаю: натуральные ребята и рискованные, вроде нас. У меня и награды есть, девять штук; до ровного счета войны малость не хватило. Я их так и не надеваю, ордена-то. Как с войны пришёл, снял, старуха в сундук положила, там и лежат. А чего гордиться? Перед природой гордиться нечего. Природа, она всегда выше тебя, и никакой ты перед ней не герой... Воевалось как? А что, – легко воевалось. На войне перво-наперво, чтоб совесть была спокойная и природа чтоб на твоей стороне, тогда

твоя будет победа обязательно. Вот немцу, тому трудно было воевать, потому как против природы пёр и против всякой людской совести...

Деда опять будто прорвало. Предвидя наш скорый отъезд, он спешил наговориться недели, наверное, на две вперёд и отстал от всех на полмиски щей. Но обед закончился, и мы стали прощаться. Старуха сказала «до свидания», а Фомич проводил нас до лодки, как-то сразу потеряв ко всему интерес. Он подал каждому руку, сухо бормотнул «ну, пока» и, едва винт вспенил воду, повернулся и зашагал к хате.

Погода посвежела. Небо обложило тучами, и всё вокруг стало серым и тёмно-зелёным. Схватывался ветерок и мелко рябил воду. Говорить никому не хотелось, каждый сам в себя вглядывался и сам с собой беседовал.

По течению лодка шла быстрее, и мы вздрогнули от неожиданности, когда Федя подал голос.

– Ну, так как? Сейчас налево рукав пойдёт. Завернём, что ли, ночевать к Косому? – спросил он Костю.

– Да пошёл он... ещё ночевать у него! Душегуб! – сказал Костя с отчаянием и закончил вовсе по-морскому: – Давай прямо, полный вперёд. Домой.

Слева открылась водная полоса и, повернувшись вокруг невидимого стержня, как это бывает при быстрой езде, скрылась из глаз.

## На старости лет

У Филимона Никитича Серсаева, известного больше по прозвищу «Ёкарный башмак», чем по имени-отчеству, случилась беда: значок потерялся. Досада, конечно, страшная. Иной раз, бывает, карандаш потеряешь, и то переживаний на весь день, а тут значок, не шутка. Не какой-нибудь из ларька за тридцать копеек, а наградной, с номером, даже как бы лауреатский, «Отличник культуры» назывался. Филимон Никитич его и разносить не успел, как посеял. Тем обидней, что в длинной снижке наград значок был последней заслугой Филимона Никитича и горю старика не было границ, так как он знал, что теперь его уже никто ничем больше не наградит: годы не те, силы не те, а ордена без разбору не дают, их заслужить надо.

От расстройства он заболел и пролежал всю неделю, а отлежавшись, надумал выпросить в министерстве новый. Вначале ему просто показалось, что там не откажут, а потом, осмелев, он и вовсе решил: «Пусть лишь попробуют!» Только писать он не умел. Всё другое умел: и читать, и речь держать, и расписываться, а вот писать Филимону Никитичу как-то не доводилось, и он не умел. По таковой причине он и пригласил к себе Владика Чмырёва, местного спортивного комментатора и грамотея из треста столовых.

Пока жена Филимона Никитича с невесткой собирали на стол, Чмырёв осматривал помещение и не скучал. Старик жил особо от семьи и комнату свою отделал под музей, – там было что смотреть. Первей всего Владик отметил малиновые галифе, потраченные молью; они были распялены гвоздями прямо на стене, и их кожаный зад сразу же согрел гостя жарким самоварным глянецом. Рядом, на ковре, висело оружие, побряцывая и перезваниваясь надписями. Ножны говорили: «Смотри клинок», клинок говорил: «Смотри ножны»; кобура говорила: «Смотри ливер», а ливер, револьвер, значит (прозрачный, как стёклышко, без барабана и без бойка), давал списочный отчёт: где, когда, кого и сколько. Пара гранат-лимонок рассказывала, что ими пользовались орлы такого-то кавполка «также для добычи провианта», а горский тесак числился «подарком друга».

– Ты его тоже зарезал? – поинтересовался Чмырёв у хозяина, не слишком чинясь.

– Сам пропал, слабак, – ответил Филимон Никитич, догадавшись, о ком речь. – Застрелился, башмак ёкарный.

В комнате было много всяких предметов, но они запоминались не так сразу, как впоследствии. А впрочем, вид у музея был вполне обжитой, может быть, от добротной, хотя и устаревшей мебели, именуемой «трофеями». Вскоре хозяин с гостем уселись за стол, и Филимон Никитич начал толковать о деле, но так издали, что Чмырёву было не понять, – какой Гридин? при чём Гридин? за что старик невзлюбил этого Гридина? чем Гридин ему насолил?.. Владик его не перебивал, потому что сразу же принялся за еду, а мелочи жизни рассчитывал выяснить по ходу разговора с «ёкарным башмаком», то бишь, с Филимоном Никитичем.

– Я ещё раньше, – говорил Филимон Никитич, – ещё когда думал. И аппетит у меня стал – веришь? – никак. Не то, что аппетит, ну не могу, ёкарный, ничего есть, хоть убей, понимаешь, кукрыниксы какие. Совесть замучила. А чем он, думаю, за тебя, Серсаев, лучше, Гридин этот? У него и полстолько подвигов не наберётся, как у меня. Дуб дубом, а пенсия тож персональная. А спроси, на что она ему, так он и сам не знает. У него и зубов... А у меня – гля! – все зубы целые, а у него – кхе! – и зубы подёргали, и сам того, ёкарный твой, желудком болеет, видишь, какая штука, желудком, да. И почки тоже. Врачи говорили: «Там уже, – говорят, – не почки, там, – говорят, – полно камней, не почки, – говорят уже, – а камней очень много». Во, милок, дела, – прямо на стенку лезь. Давай, говорю, Серсаев. Жми. Бери, не зевай, а то другие возьмут. Тебе тоже права дадены не последнее дело. Вот и скажи: имею право, как думаешь?

– Гумаю, га, – сказал Чмырёв, остуживая во рту вареник.

– Значит, соображай, раз такой вакант. У меня права какие? Вон какие! – показал Филимон Никитин на галифе с кожаным задом. – Революция за кого? За меня. Сколько я, Владь, пользы ей принёс, один я знаю. А как же! Советскую власть, думаешь, кто делал? Серсаев. А гражданская? Серсаев. А троцкизм или колхозы? Да я... да мне, бывалыча... ликвидировать, изъять, уничтожить... Кто? Я. Серсаев гремел – о-о-о! Того и делов: «Серсаева к командующему! Где Серсаев? Найти хоть живым, хоть мёртвым!» Являюсь. «Есть!» – говорю. «Садись!» – «Есть, садиться!» – «Слушай, Серсаев, давай, ехай, организуй, тудавóй-сюдавóй, срок до вечера, за невыполнение – сам знаешь, не в первый раз». – «Есть!» – говорю. И-и, – «Эскадрон! Мелкой рысью! Даёшь мировую и так дальше!» Понял? Сам Фрунзе меня потом перед строй и принародно: «Побольше бы таких, как Серсаев!»

Пришла пора как-то отреагировать и Чмырёв сказал:

– Ну, прямо-таки сам. Шестёрка, небось, из штаба, а ты уши развесил.

– Сам! – отрубил Филимон Никитич ладонью по трофейному столу. – Сам, говорю. Лично в глаза. При всех. Это, как мы с тобой. А как же! Тамбовские не таковские! А ты думал! Мне Климка в штабу сколь раз говорил: «Капитальный ты, – говорит, – парень, Филя, в рот пароход». Привычка такая: чуть чего – в рот пароход. «Есть, – говорит, – в тебе, Филя, наш боевой красный фарт, и ты, – говорит, – Филя, дай знать, ежели не того. На таких героях...» – и так дальше.

Чмырёв пустил вскользь по пищеводу, не прожевав, маринованный груздь и любопытничал:

– Климка, это кто?

– Как это «кто»? – обиделся Филимон Никитич. – Хорошенькое дело! Ты что, башмак, Ворошилова не знаешь?

– А-а-а! – длинно удивился Чмырёв и пресёк удивление пирожком с капустой.

– Или хоть бы, взять, Будёный. Тоже, – ух, мужик! Нашим не уступит, – во, мужик! «Руби, – говорит, – до седла, остальное развалится». Слово поперёк – сам отведёт, сам расстреляет. Змей! Боялись его, как огня, уважали ещё больше. Оно, конечно, лучше за них за всех Котовский был Григорь Иваныч. Мне под ним хоть и не довелось, но повидал. Отчаюга – первый сорт и деваха при нём. Говорили, – каждый день разная. Падкий был до них. На том и погорел. Адьютант застукал со своей бабой и... Там и порешил, прямо на месте.

Владик бросил перемалывать голубец и наострил уши. Ему показалось, будто Филимон Никитич вот-вот доберётся до вождя и тот тоже скажет что-нибудь знаменательное. Он угадал. Старик поубавил голоса и подался грудью к столу.

– Самого видал, – сказал он. – Век не забыть. – Тут он ненатурально выпрямился на стуле и сделался очень похож на колун для дров; его взгляд остекленел и упёрся в потолок, а голос приобрёл подозрительную бойкость, какая всегда отличает читку газеты вслух от живого, непринуждённого общения. – Наиболее яркое впечатление моей юности и, вообще, всей моей жизни – это то воодушевление, та готовность, тот подъем, с которым мы, первые комсомольцы молодой советской республики, собрались в тысяча девятьсот незабываемом восемнадцатом году на свой первый съезд. Я сидел в четвёртом ряду. Невозможно передать словами, как горячо и вдохновенно забились в груди наши пылкие сердца, когда на сцену вышел величайший и гениальнейший из всех, кого знала мировая история...

– Стой! Стой! – замахал руками Владик. – Ты, дед, совсем уже того... – и повертел вилкой у виска. – Да и непохоже... А доклад свой пионерам толкнёшь, – молодец, что выучил. Они тебе в ладошки похлопают. А со мной давай по душам, а то взаимности не будет. И не выдумывай, понял?

– Я ж не выдумываю, – стал оправдываться Филимон Никитич. – Это мне так написали, чтоб выступать когда... А я, Владь, ей-бо, в четвёртом ряду сидел. Всё дóчиста видел... С собой кургузенький. Пиджачишко на нём так себе, картузик, ёкарный, под наших и пошёл: ить-ить!

ить-ить! Ну, чисто покати-горошек. А хитрый – у-у-у! Я после него таких уже не встречал. «Вот вы, – говорит, – пока ещё молодёжь, а чез двадцать лет, – говорит, – в коммунизме будете, как у тёщи на блинах. Но для этого, – говорит, – ебятки, надо кье-э-эпенько воевнуть, чтоб, значит, наша диктатура зацепилась». А сам так головкой на-бочок и запромётывает, так и запромётывает. Я помню...

– А Сталина не встречал?

– Сталина? – обрадовался Филимон Никитич. – Ну, как же! Раза три. Один раз – веришь? – при разговоре с ним состоял, при разговоре в Москве, говорю, да, при разговоре. Я тогда начальник погранзаставы был и привёз на съезд ключ, весь медный, блестит, башмак твой, и килограмм на двадцать весом потянет, а по ключу, ёкарный, вся конституция насечкой мелко записана. «Вот, – говорю, – как граница наша теперча на надёжном рабоче-крестьянском замке, то передаю ключ в руки нашего цык и лично родного и любимого Асса Рионыча, который есть лучший друг любого пограничника и всегда знает, когда чего открыть, когда закрыть...» – и так дальше. А он ключ берет и смеётся: «Адын, – говорит, – я нэ магу, пускай президиум памагаит».

– Балшой чалвэк! – заметил Владик, поддельваясь под кавказский акцент. – Ы сапсэм прастой.

– А то! – взбоднул воздух Филимон Никитич. – У этого простого не залежится. Этот уламывать никого не будет; сказал, как завязал, а если ты чего спросил, значит, неправильно понял, а вождя кто неправильно понимает, – угадываешь? Во-о, про то тебя, башмак, и на суде спросят. Тигра! Две капли и не отличишь. Видел тигру, какая? Вообще, оно все люди на зверей чем-чем смахивают, но Асса Рионыч на одну тигру похаживался и больше ни на кого. Вся выходка... Вот кого народ любил без памяти.

Чмырёв засмеялся, потом спросил:

– А ещё кого знал?

– Хе, милоч, – осмелел Филимон Никитич. – Спросил бы, кого я не знал.

– Дуньку с трудоднями ты не знал?

– Нет, ты спроси, спроси.

– Ну, а кого ты не знал?

– А всех знал. Да ты на грамотки глянь, на справки, на подписи, а тогда спрашивай.

Справки Владик видел и читал. Они купно помещались в углу и гласили примерно об одном и том же: что товарищ Серсаев с такого-то по такой-то период мог в любое время дня и ночи входить в любой дом, становиться на все виды довольствия и делать всё, что велит его ревсовесть, пользуясь всем арсеналом горячего и холодного оружия, каковое могло быть полезным для экспроприации, экзекуции и ликвидации, а гражданам – всем! всем! всем! – предписывалось оказывать товарищу Серсаеву прямое, сильное, возможное, всяческое и прочие виды содействия вплоть до чего угодно. При таких мандатах творить подвиги мог далеко не всякий слабак, а этот высохший Геракл с глазами лешего и руками душителя натурально их творил, – сомневаться не приходилось.

– Верю, старче, – сказал Чмырёв. – Сгодятся на случай. Кому-кому, а тебе эти мертвяки обязаны. Только живых не трожь, они этого не любят. В общем, не грусти, Маруся. Твои расходы, мои труды.

– Милоч! – кинулся Филимон Никитич разливать водку по рюмкам. – Не бойсь! За мной не пропадёт. Да ты пей, пей. Я-то вровень не могу по возрасту, а ты давай, наливай, чего там между своими, какие кукрыниксы.

– Ну, договорились. Ноблес оближ! – поднял Чмырёв рюмку.

– Как, как? – не понял Филимон Никитич.

– «Договор дороже денег». Поговорка такая у французов, – показал Чмырёв пальцами и приналёг на яишню с салом.

– Французы, эти могут, – поддержал Филимон Никитич. – Они такие. Я тебе про них анекдот расскажу интересный, – обхохочешься. Встрелись, значит, один наш, другой француз, а курить – уши опухли. У нашего махорка на две закрутки, у француза одна спичка. Ну, сторговались: мой табачок, твой огонёк, – вроде того. Скрутили, ёкарный, по цыгарке. Вот француз спичку запалил и культурно сначала даёт нашему прикурить. Наш прикурил, на спичку – ффффу! – и пошёл своей дорогой. Хе-хе-хе-хе! Понял, как надо? Чего не смеёшься?

– А можно? – спросил Чмырёв.

– А то чего ж! – разрешил хозяин.

Владик рассмеялся, но вовсе по другой причине.

– Так вот, я и говорю, – продолжал Филимон Никитич. – Пили мы на «кто кого». – «Ну – ребятешь мне, – давай Филя, не подгадь». А я молодой был, горячий, как чёрт, меня перепить, бывалыча, хоть кому в задю не кругло. Это я, Владь, состарился, а раньше... Да ты прикинь, какой я был-то! – старик сделал рукой жест «широка страна моя родная» и вынудил гостя ещё раз взглянуть на обрамлённые фотографии.

Карточки Владик тоже успел посмотреть. На них молодой и стройный Филимон Никитич то попирал хромовым сапогом лафет пушки; то, обнажив саблю, глядел вдаль бесстрашными пуговичными глазами; то восседал, умный и серьёзный, за столом с группой таких же умных и серьёзных, как сам; то в модной кожанке с ремнями крест-накрест и кубанкой набекрень выступал где-то, когда-то, перед кем-то...

– Угу, – промычал Чмырёв, придвигая олады в сметане.

– А раньше!.. – расходился Филимон Никитич. – Ёкарный башмак твой! Как сейчас перед глазами. Кругом разруха, голод, люди мрут на ходу, а у нас чего только нет: крупчатка, сахар, чистый спирт, – ректификат назывался. Девки – хе-хе-хе! – только помани, любая даст и ещё «спасибо» скажет, – во дела. В общем, ешь, пей, гуляй и – аллюр три креста на выполнение задачи. Во, когда нас ценили. Особенно, кто в первых рядах. А я, Владь, честно скажу, за идею стоял беспощадным примером.

Чмырёв сыто икнул, обтёрся краем скатерки, закурил и подошёл к оружейной экспозиции. Постоял, взял гранату, опробовал на вес. «Для добычи провианта», – это как? – спросил он. – Рыбу, что ли глушили?

– Это, милок, как когда, – усмехнулся Филимон Никитич. – Когда рыбу, а когда и не рыбу. К примеру, в Белой Калитве, скажу тебе, брали мы колбасню. Так мы сперва в неё с десяток таких вот закинули, а потом уже брали. Фурманок десять взяли. На одну по одной – во улов! А окорока, Владь, были – ммм! А колбаса – что ты! В спецмагазине в обкомовском и то – слабб такой колбасы. Сейчас хоть бы на зубок...

Выкрутившись винтом на каблуках, Чмырёв одарил старика свежим взглядом и спросил:

– Слышь, дед. А тебя, часом, никто не того?.. Ну там, ножиком под бок или, хотя бы, гирей, а? по темечку. Уж больно идейный ты мужик был, как поглядеть. Рисковал, одним словом. Так-таки никто тебя и не пырнул? Врёшь ведь.

– Мало чего, пырнул – не пырнул, – заёрзал Филимон Никитич. – При нашем деле не ворон ловить. А где они, кто пырлял? Вот видишь. А я сижу на хаузе, чай с вареньем, беседую, живой-невредимый, – во. И зубов у меня ещё полный рот, и желудок варит, что ни кинь, и всё хоккей, как в Америке. А возьми Гридина – чуть живой, скоро загнётся, говорят. Да чего там! Прошлый месяц меня тоже, было, на тот свет наладили. На полном, ёкарный, ходу чёрная «Волга». Как я от неё сиганул, сам не знаю. Под колёшками проскочила. «Ах ты, контра, – думаю, – на старого большевика...» Глядь! – а там Андрей Свольч самолично. Будка – за раз не уделаешь, ротяра – во! И смеётся, паразит. Пошутил, значит. Я тоже засмеялся. А что ты с ними будешь? Они ж прут без разбору, хоть на красный, хоть на какой. Раньше такие гоняли на рысаках. «Пади! – кричат бывалыча. – Поберегись!» А сейчас тихо дают. Ох, шустряки!..

Младший сын у меня в Ташкенте живёт, инженер, инженер, видишь, какая вещь, в Ташкенте инженер. Тоже рассказывает...

– Ну, понёс, – перебил Филимона Никитича Чмырёв и махнул на стол с угощением. – Давай, убирай это. Делом надо заниматься. А то тебя до вечера не переслушаешь. Ну, говори толком, ты для чего меня звал?

*Дорогой товарищ министр культуры.*

*Я, Серсаев Филимон Никитич, бывший революционер с подпольным стажем и большевик, а ныне персональный пенсионер и меценат, обращаюсь к Вам с пламенным приветом и аналогичной просьбой.*

*Несколько слов о себе. Когда в газетах пишут «ровесник революции» или «ровесник века», я всегда за себя думаю, так как я ровесник того и другого: родился на нулевой отметке столетия, в революцию мне стукнуло ровно семнадцать и, что интересно, свой день рождения отмечаю с шестого на седьмое ноября, как по заказу, число в число.*

*С родителями имею полный порядок: мать – прачка, отец – революционер, но раньше трудно было на эту специальность прожить, поэтому он был сапожник и подбивал на революцию других. Я им помогал по мере возможностей и бегал за водкой, а они для отвода глаз царских жандармов выпивали и начиналась катавасия: мамаша ругала батю с друзьями, те ругали царя и существующий строй, а я слушал и набирался ума-разума. С малых лет я познал кузькину мать эксплуатации человека человеком и сто процентов был согласен с идеями родителя, который говорил: «Все мы люди, все мы человеки». Он скончался во время голодовки двадцать второго года, а тиф голодному не подмога, от него он и помер. А мамаша померла ещё раньше.*

– Капитально, – одобрил Филимон Никитич. – Даешь, как поёшь.

– Ну! – отозвался Владик. – Это тебе не колбасню брать.

*Комсомола тогда ещё не организовали, вступить не было куда, о подрастающем поколении не заботились, и я, по большей части, околачивался, где придётся. Это даже удивительно, что я не сбился с панталыку и не пошёл воровать, а даже наоборот. Раз один офицер потерял сумку с документами, и я ему отдал, а он говорит: «Вот тебе, мальчик, золотая монетка за то, что ты такой честный». Понятно, что при таком существовании я не имел будущего, поэтому всей душой встретил революцию и с первого дня влился в её ряды. Уже в семнадцатом году я, напевая «Интернационал», лез по столбу вешать плакат, а командир гарнизона, товарищ Покатило, сказал про меня: «Это наш красный Гаврош». С тех пор это стало моей подпольной кличкой.*

– Ты что, у белых был? – отвлёкся Чмырёв от письма.

– Чего я там не видел? – насторожился Филимон Никитич.

– Ну, мало ли. Шпионил, разведку вёл, – я ж не знаю, чего.

– Башмак ты ёкарный! Я с ними боролся всю жизнь, со шпионами, а ты – «шпионил».

За красных я был, так и пиши.

– Ясно, – сказал Чмырёв и улыбнулся.

*«Моя сознательная жизнь проходила на фронтах: от похода к походу и снова в поход. Там я увлёкся по части культуры и приспособился, можно сказать, между боями. На моём жизненном пути конармейца мне столько всякого добра довелось встретить, что другим и не снилось. Так как парень я был бедовый и раз от разу выдвигаемый на должность, то мне полагалась отдельная фураманка, где я содержал разные предметы, развивался от них сам и развивал свой кругозор. Сколько уже годов прошло с того времени, а у меня до сих обидка на сердце, что всё это накрылось на польском фронте, самого меня ранило, быстро отступали, пришлось всё бросить».*

– Какие вещи были, какие вещи, – загоревал Филимон Никитич. – И всё дочиста прахом, коту под хвост. Тикали мы, ох, тикали, кто пеши, кто как.

– Изложим? – предложил Чмырёв.

– Не надо, – отмахнулся Филимон Никитич. – Не всем знать.

*После поправки назначили меня по развёрстке продовольствия у населения, а я был молодой, энергичный, переверну, бывало, всё вверх дном, а найду. Хотя время было уже не то: народ отоцал, ничем, кроме куска хлеба, не интересовался и ничего наглядного, кроме икон, не попадалось. А мы ещё не знали, что иконы тоже культура; тогда другая была установка и обязаны были выполнять. Если б знатьё, что с иконами такая выйдет промашка, я б их, этих икон, понасобирал дровяной сарай и больше, но в те годы был приказ «Крой, Ванька, бога нет», и всё божественное мы пускали на слом или в огонь, а попов через трибунал и в расход.*

– С ними валандаться, – поморщился Филимон Никитич. – Лучше десять простых, чем один патлатый.

– Какая разница, – передёрнул плечами Владик. – Не всё равно – люди?

– А такая, что не всё. Возьми, интеллигент. Тоже «люди». Так он что вытворяет? Сам не свой, бедолага, на колешках плачет, папой-мамой-детьми, сукин кот, клянётся, сапоги тебе, ёкарный твой, нализирует... Или другой, покрепче который. Глазами на тебя зыркает, зубами скрипит и всё время ругается. А попы? Они молятся, понял? И ничего ты для них не обозначаешь, хоть ты их бей, хоть стреляй, хоть чего.

– Интересно, – вырвалось у Чмырёва.

– Интересно у бабы под подолом, – поправил его Филимон Никитич, – а тут тебе никакого, милоч, интересу. Вот, скажем, поп. А вот – я, значит. И он меня ни вот столечко не боится. Читает себе всякую богородицу, а я, вроде, пустое место, ты ж понимаешь! Положено как? Или ты боишься, или тебя, а иначе порядка не жди. Значит, ежели у него страха нет, значит, моя очередь, – так выходит?

– Ну, тебя на испуг не враз возьмёшь, – ободрил Чмырёв Филимона Никитича.

– А то! – возразил Филимон Никитич. – Ещё как боялся, милоч! Чуть не обмочишься. Весь, бывалыча, заряд засадишь, а у самого с думки нейдёт: «А что как встанет?» Не-э, попа с одной пули даже не пробуй. Вредные. Мы народ стращаем, а с него какой пример? Я, вроде того, делаю, и ты делай; я, мол, не боюсь, и ты, значит, не бойсь. Это порядок?

– Да-а, – задумчиво протянул Владик и вытер взмокший лоб. – Большая у тебя жизнь, дед. История. Мемуары писать. Не к ночи будь сказано... Ну, ладно. Поехали дальше.

*Вскоре после этого меня откомандировали по установлению советской власти в республиках Средней Азии, где басмач на басмаче и басмачом подпоясан. Это такой народ заядлый оказался, ничего признавать не хотят и религиозные – нет спасу. Нам приходилось разъяснять и вести большую воспитательную работу, потому что добром от них ничего не добьёшься. Это они теперь образумились, пишут нашими буквами, спекулируют по всей стране, про политику рассуждают, а раньше к ним без нагана не подходи. Сами грязные, некультурные, пишут, как курица лапой, ничего не разберёшь. Мы там уничтожали святые места и все ихние книги подряд, какие попадались, но ничего культурного не нашли, одни лишь ковры и одеяла. Мы им советовали русским языком, чтобы не сопротивляться, а то перестреляем до одного, на расплод не останется, но они думали, что это шутка, и сопротивлялись вплоть до оружия. Тогда мы лупили по ихним кишлакам из орудий, только пыль столбом, и они за это ненавидят товарища Будёного, аж дрожат со зла. Проводя воспитательную работу, я там получил ножевое ранение в живот и долго поправлялся на курорте. Конечно, ковры, они тоже культура, но маленькая...*

– Что ты заладил: барахло да шмутки, – проворчал Филимон Никитич. – Загни, давай, про идейное.

– Не скрипи, – осадил Чмырёв старика. – Сейчас пойдёт идейное.

*В дальнейшем я полностью перешёл на работу в органах чекизма, но ещё тогда понял, что культура – это великая вещь, особенно книги. Сколько я их на своём веку проработал, это*

*невозможно, а насчёт политграмоты было строго, так что хочешь – не хочешь, а развивайся и никаких гвоздей. От книг я, можно сказать, человеком стал и другим советую. Но главное, что я тогда мечтал, так это оставить по себе след через какую-нибудь библиотеку, где трудящиеся смогут в свободное от работы время работать над собой, успешно отдыхать и меня вспоминать.*

– Подходяще, – похвалил Филимон Никитич. – Доходит. Умеешь. Жми до конца. Добровольно, скажи, никто не заставлял и так дальше.

– Не мешай, – отозвался Владик. – Без тебя знаю.

*Когда я вышел на пенсию, то открыл на дому библиотеку для всенародного пользования, а также именной музей революционной, боевой и трудовой славы и сильно израсходовался. Об этом много писали и в журналах, и везде, а ещё передавали по радио и показывали меня по телевизору и в кино. Комсомольцы записали в книге благодарностей, что я, как полноводная река, орошаю посевы, а по мне корабли плавают. Вы про это, товарищ министр, тоже, конечно, слышали и приказали наградить меня значком «Отличник культуры», а я вам за это обязан, что не забыли старинного борца за землю, за волю за лучшую долю.*

– Слушай, – спросил Чмырёв, отодвигая бумаги. – Ты где её раскопал, библиотеку?

– В утилё, – усмехнулся Филимон Никитич.

Владик ушам не поверил.

– Где? – переспросил он.

– В утиле, – повторил старик. – У них много. Туда люди книжки сдают, какие негодные, политические. Две копейки за килограмм. А все новые, никто не читает. Чего ж им, ёкарный, пропадать? Я перекупил. Три самосвала привёз.

– А ну, неси сюда свои благодарности, какие есть, – потребовал вдруг Чмырёв.

– За библиотеку? – уточнил Филимон Никитич робко.

– Не за попов же! – огрызнулся Владик через плечо.

Он пролистал принесённую тетрадь, но в ней, кроме записи о реке и о кораблях, ничего больше не было.

– Не шибко, дед, – вздохнул Владик. – Прямо сказать, не шибко.

– Стишок про себя знаю, – застенялся Филимон Никитич.

– Ну, давай.

Филимон Никитич скосил глаза и прочитал, как на утреннике:

Товарищ Серсаев,  
Вы гордость народа,  
Мы вас поздравляем  
С высокой наградой.

– Сам придумал?

Филимон Никитич скромно кивнул.

– Хороший стишок, – одобрил Чмырёв. – Министру понравится. Они, министры, любят клубнику с малиной. Так, значит, и запишем.

Стишок записали, облыжно приклепав авторство ни в чём не повинным пионерам и школьникам, и перешли к сути дела.

*Награда родины ко многому меня призывала, поэтому я таскал значок везде и всюду, пока не произошла катастрофа, которую я сейчас опишу. Ночью у соседа загорелся дом. Я проснулся, накинул френч с наградой и рванул на помощь. Сразу же я полез в огонь, но мне там стало жарко, и я разделся без внимания. Извините, конечно, что в горячке человеку не до орденов, главное, людей спасти, – я так думаю. Продолжая спасать людей и материальное имущество, я надеялся, что с минуты на минуту будет пожарная машина, но она приехала,*

когда от дома остались одни головешки, и мой френч от этого безобразия тоже сгорел. Полдня я ковырялся в золе, думал, найду...

– погоди, – остановил Чмырёва Филимон Никитич. – Это какой же дом такой по соседству? Гридинский, что ли? Даже не думай! Не побегу я его спасать, пускай горит... И вообще не пойдёт. Ты перемени. А то ещё скажут: «Предоставьте справку. Или медаль за мужество». Я её где возьму?

– Не скажут, – заупрямился Чмырёв.

– Да, да, шире карман держи, «не скажут». Так тебе сейчас и поверили без справки. Ты давай, ёкарный, вот чего делай: или нельзя чтоб справку достать, или можно. А это зачеркни, про пожар.

– Оно бы лучше без справки, – почесал за ухом Владик. – Спокойней как-то. Сейчас устроим. Момент.

После кратких переговоров получилось следующее:

*Недавно я поехал в Ташкент проведать сына, а френч с наградой положил в чемодан. И вот, не помню, на какой станции, мой чемодан украли, – просыпаюсь, а его нет. – Я в милицию. «Так и так, – говорю. – Требую шмон по линии, тревогу номер один, проверить удостоверения и так дальше». А дежурный мне что? «Мотай, – говорит, – старик, отсюда, а то и тебя посодим». – «Я, – говорю, – полковник такой-то», – а он отвечает: «Это ты раньше был полковник, а будешь, – говорит, – покойник, – понял? и чеши, пока не поздно».*

– Крест на пузе, – побожился Филимон Никитич. – Сержант один в Ташкенте. Так и сказал, контра. Слово в слово.

*Это что же делается? А ещё говорят «моя милиция». Какая ж она «моя»? Разве с ветеранами так обращаются. Вот раньше было обращение, это да. Ещё батя мне одного показывал. «Гляди, – говорит, – Филька, и запоминай: ветеран Полтавского сражения...»*

– Трепач твой батя добрый, – заметил Чмырёв без отрыва от письма. – Полтавское знаешь когда было? Триста лет скоро. Это Куликовской битвы был ветеран.

– Ну, переправь, – сказал Филимон Никитич. – Тебе видней. Батя, это верно: швайка, дратва – это он соображал, а насчёт чего другого ни в зуб ногой был. Ты поправь, поправь.

*...запоминай: ветеран Куликовской битвы». Так его ж на подушках несли! А теперь не то, что подушку, а вообще ничего никогда. А я сам себя не жалел. И вот такая мне благодарность. «Иди, – говорят, – дед, откуда пришёл». – «Я, – говорю, – под Перекопом был». – «Вот туда, – говорят, – и иди, под Перекоп». – «Я, – говорю, – Ленина видал на комсомольском собрании». – «Ну, и что с того, – говорят, – что ты его видал?»*

– Правда, – заскорбел Филимон Никитич. – Былб. Что былб, то былб. Правда.

*И вот остался я, товарищ министр, как есть на бобах и ничего не радуется. Удостоверение у меня имеется, подписанное Вами, но его же не повесишь на шею и каждому встречному не покажешь, что ты удостоен. Я даже не знаю, что дальше будет и для чего была моя жизнь. Ночей не сплю, размышляю, как могло так случиться, что теперь каждый кусок поперёк горла застряёт. А ещё обидно слышать такие разговорчики, как молодёжь ведёт. Мы такого про вождей даже подумать боялись, а сейчас анекдоты всякие и никто ничего, только смеются и всё».*

– Только смеются и всё, – горестно повторил Филимон Никитич. – Смеются только и больше ничего... Ты, Владь, попроси его, попроси, как следует. По-интеллигентному, со слезой, папой-мамой-детьми. – Старик всхлипнул и полез в карман за платком.

– Ну, будет хныкать, – ободрил его Чмырёв. – Расклеился!

*И я Вас, дорогой товарищ министр, умоляю папой-мамой-детьми, а также всем святым, что у Вас имеется, уважить мой преклонный возраст, мой стаж и заслуги перед государством, которое я укреплял собственными мозолями от начала до конца. Дайте приказ и*

*пусть вышлют хоть дубликат значка, который мне дорог как признание моих заслуг на пути дальнейшего строительства новой светлой жизни. Моей просьбы прошу не отказать.*

*С уважением,*

*Серсаев Ф.Н., полковник в отставке,*

*персональный пенсионер союзного значения,*

*член КПСС с 1918 года».*

– Думаешь, выгорит? – просительно заморгал глазами Филимон Никитич.

– Можешь не переживать, – заверил его Владик. – Ни одна министерская собака не отмахнётся. За вкус, дед, не знаю, а горячо сделаем.

– Ну, ладно, – успокоился старик. – Ну, подождём, башмак твой ёкарный...

Долго и зря ждал Филимон Никитич. Уже и время прошло, и пленум состоялся об улучшении работы с письмами трудящихся, и Чмырёва он дважды успел повидать, а ответа всё не было. Ни письма не было, ни значка, – ничего. Вряд ли просьба Филимона Никитича затерялась; просто она залетела в те высокие круги, куда всё идёт и откуда ничего не возвращается... Короче говоря, Владик сходил к знакомому коллекционеру, купил у него такой же значок и перепродал Филимону Никитичу, а разницу взял за труды.

С тех пор прошло несколько лет, но Филимон Никитич жив-здоров, как прежде. Его даже приняли на службу в одно учреждение за то, что он так много всего повидал, и сажали в президиумы, но вскоре уволили. Дело в том, что старик совершенно сошёл с тормозов в смысле контроля речи и стал сдурá-умá проговариваться о таких подробностях, о каких ему лучше бы вообще помалкивать. В конце концов, сам Андрей Сволыч не вытерпел и назвал его воспоминания «идущими вразрез», а Филимона Никитича приказал прогнать. Теперь старик мается от безделья и на всех ворчит, потому что скучно.

А в вёдренный день он выходит в сад, садится под яблоней и сидит часами, думая о прожитом. Когда он один, ему уже не приходят на память грабежи, рубка пленных, пьяные гульбища, встречи с вождями, расстрелы попов за околицей, пальба из курносых пушек по грязным таджикским кишлакам, – не приходят, потому что неинтересно. Охотней всего ему припоминается, как осенью степь волей пахнет; как по той степи бездорожно и вольно ступают лошади; как его самого увалисто в седле кольшет; как вдумчиво молчат кони и люди, будто тишину пьют с неба сумеречного, и кто-то, стремя в стремя, протягивает ему окурочек, вкусней которого он ничего и никогда не курил. Тут его память начинает пробуксовывать, и он думает: «Кто ж это был?.. Кто ж это был?.. Кто ж это был?..» И не может вспомнить за давностью времени.

## Морской пейзаж с одинокой фигурой

Отмель делит реку от моря и уходит вдаль узкой косой. При отливе она вытягивается ещё дальше, и река удлиняется вместе с ней до того места, что здесь называют «устья». Однажды сюда забрела лисица. Поселковые мальчишки гурьбой переняли её бег и выгнали по косе на самую остроконечность. Там ей некуда было податься, и она, замочив лапы, неумело тьякала о пощаде, а может, знак подавала, что добром это не кончится. Так и вышло: начался прилив и все кинулись назад, но добежать до суха не было часа. Лиса обогнала своих мучителей, но тоже не проскочила: море сомкнулось с рекой, и огненный лисий хвост последний раз просигналил беду, а детские голоса потерялись в зауспокойном крике чаек. Одного потом нашли в устьях, – нерпы у него нос отъели, а остальные так и сгнули без похорон.

Сюда мало кто ходит. Даже пограничники. Они воткнули столб за рыбокомбинатом, написали «Непроезд» – и всё. А жаль. Здесь хорошо. Безлюдье, покой. Коса, что асфальт утрамбована, – не идёшь, а несёт тебя. Песок – солнце на небе рисуй, да поярче, чтоб всё внутри озарилось, – такой у него оттенок. От множества чаек он ещё теплей на вид, потому что белое ладит и с жёлтым, и с серым, и с зелёным, а уж о голубом и говорить нечего – красота! Только мало здесь синевы, всё больше серость. Зато воздух свежий до середины прохватывает: вдыхаешь кислород, выдыхаешь мысль, которой родиться тут без помех самый момент; простор – сколько глаз хватает, порядок кругом первоначальный и прибор шумит специально для тех, у кого нервы сдали.

Нервы у дяди Коли в пределах, а возможно, их у него и вовсе нет. Сюда ходить он не боится, потому что время знает, не в смысле «Скажите, пожалуйста, который час», а просто: когда прилив, когда отлив, когда луна днём, когда ночью. По ночам он тут, конечно, не шляется, – занят, да и днём не всегда, а так, если в делах перебой выпадет. Вот он миновал столб и идёт, глядя под ноги, а движение волн по обе руки мешает определить, то ли дядя Коля от посёлка уходит, то ли посёлок от него уплывает. Он не оборачивается и ему со спины не видно, какой посёлок невзрачный и захудалый, если на него с приволья глянуть. Он, точно, и вблизи не лучше: на зиму в снег зарывается, как крот в землю, а в другое время стоит обшарпанный, дикий и похож на заброшенную деревню, если бы по трём его улицам не сновали люди, не брехали собаки и не смердело бы тухлой рыбой от тамошнего комбината. О месте своего жительства люди говорят кратко: «Чтоб ему провалиться!», и у кого ни спроси, все вот-вот уедут на материк, в мягкий климат, в культуру с удобствами, потому, дескать, и не обзаводятся ни машинами, ни обстановкой, ни постройками, – ничем. Да всё как-то не уезжают, мешкают, откладывают, вначале с года на год, а там и вообще.

Один дядя Коля не едет. А куда ему? Трудоустроен, на хорошем счету, работой не брезгует, не отнекивается, всё у него путём, – чего ещё? Начальство им довольно: в отпуск не ходит, компенсаций не клянчит, не болеет, не пьёт, просьбами не докучает и трудится круглосуточно. Честное слово, больше двадцати лет круглосуточно: днём плотничает в мастерских по судоремонту, ночью там же контору сторожит. Товарищ Бураков ручается, что другого такого как дядя Коля поискать: и неграмотный, то есть ничего из секретных документов прочитать не может, и безотказный на совесть: вели ему сто лет не отходить от сейфа – не отойдёт, а в сейфе ничего секретного сроду не водилось, если не считать питьевого спирта.

Вот только не наш он. Будь он наш, ему бы цены не сложить, но он иностранец. У него и паспорта нет, а есть вид на жительство, поэтому в выборах он не участвует и собраний не посещает, да и все говорят, что ежели он пропадёт ни за копейку, спрос за него ещё меньше, чем за чужую печаль. Уж на что профсоюз – дырка, а он и там не состоит. Значит, и пенсия ему выйдет, когда состарится, тридцать дней в месяц или что-то около того. Пенсия – это что! Он о ней не беспокоится. Ему, главное, работа. Он так и говорит: «Работа есь – хоросо есь,

работа нет – хорошо нет». И с людьми он побалагурить не прочь, да с ним толковать – не очень-то потолкуешь, особенно про политику. За него и в ведомости другие расписываются, потому что – темнота. Правда, со стороны даже не подумаешь: приличный, аккуратный и стружкой от него берёзовой навевает, будто после парной с веником.

В посёлке его знают. Тут он, как дерево в грунте: семья, шестеро детей – куда ему, хоть от них, хоть с ними? Нет, он здешний, постоянный и очень давнишний. Как занесло его сюда после войны с мигуками, так он и по сей день живёт. Мигуки – американцы, по-корейски. И он с ними воевал, потому что сам кореец. Вообще-то, никакой он не Коля, это его так в посёлке кличут, а настоящее имя у него – Ким Бог Знает Как. У них там все Кимы. Президент тоже Ким, – они его зовут «папа». Если у них спросить, к примеру, сколько у президента детей, они говорят: «Мы все его дети». И через плечо по привычке озираются.

Лицом дядя Коля, кого ни встретит, весело морщится, точно от сильного света, хотя, какая тут погода? – пасмурь, мга и ничего больше. Просто настроение у него всегда одинаковое. Ещё он говорит: «Денди есь – хорошо есь, денди нет – хорошо нет». Можно подумать, что у него деньги не переводятся, но это не так. Лишку у дяди Коли не водилось в помине, – опять же семья, кормить надо. Короче, неизвестно, отчего он весёлый, но может быть, от характера.

А характер у него такой, что другому и на ум не придёт, будто он мог на войне кого не то чтоб убить, а даже оцарапать. Но у него есть медаль за храбрость, и он рассказывал через пятое на десятое словами, остальное пальцами, как дело было. Самолёт сбили, и из него мигук высыпался с парашютом, – прямо к ним. Его можно было потом обменять на целый десяток таких, как дядя Коля, но это было неинтересно и мигуку отрезали голову. Сам дядя Коля не резал и даже пальцем не дотронулся, но все кричали «Смерть мигукам!», и дядя Коля кричал изо всех сил, потому что многих за это наградили и его тоже.

Он не любил мигуков. Папа Ким говорил, что это из-за них в стране мало собак и риса, а скоро и вовсе ничего не останется. Зато, мол, если дядя Коля возьмёт верх, досыта будет всем того и другого, а героям пообещал отдельные псарни. Дядя Коля поднатужился и, то ли взял верх, то ли нет, но вместо победы получился мир, и папе нечем стало кормить семейство, хоть расшибись. Тогда папа сказал, чтобы те, кто блажит есть доотвала, ехали в Советский Союз, с которым он договорился, а там всего вдосталь, что собак, что чего хочешь. Корейцы послушались и поехали. Много-много поехало. Дяде Коле в то время не было и тридцати, а жениться раньше тридцати нельзя, так что он был не только весёлый, но и холостой. Подумал он, подумал и законтраковался на полную десятку. И очутился в посёлке.

С тех пор больше двух десятков прошло, а он всё ещё здесь. На родине о нём никто за годы не почесался; туда сообщили вовремя, что его нет в живых – и дело с концом. Если бы теперь папа Ким спросил: «Где мой кадр? Где дядя Коля? Что он подельывает? Ну-ка, представьте его, как договорено», – ему бы ответили, что никакого дяди Коли мы знать не знаем, что дядя Коля скончался на первом ещё году от обжорства и не только скончался или похоронен, но даже сгнить успел, – вот так. Что тут придумаешь? Кто врёт с утра, тому полагается врать до вечера.

А он не скончался. Он идёт по косе и чаек ему на пути попадаетея всё больше и больше. Им не нравится, что дядя Коля сюда пришёл. Они ему, конечно, уступают, но с таким трезвом, хоть уши затыкай, а он, знай своё, идёт, пока не останавливается, будто споткнувшись. Потому что прямо перед ним валяется на песке большая рыбина и сонно поводит жабрами. Это кижуч. Царская рыба кижуч, не рыба, а заглядение: чешуя серебром льётся, плавники радужой играют, хвост от русалки, да любоваться некогда, так как гибнет она и, ни у кого не спросись, еле дышит.

Дядя Коля влезает пятерней в жаберную пройму и волоком тащит рыбу к воде; весу в ней полтора пуда и на руки пусть её те берут, кого после тройной ухи особливая жалость к природе одолевает. Подгадав промежуток между вздохами водяного царя, дядя Коля бросает кижуча и

бегом бежит от прибоя, а затем следит издали, как рыба, несколько раз перекатившись, приходит в себя, как она в воде устраивается и как ползёт по-змеиному к речному гирлу. Беременная самка это. Самцы, те поглубже идут, а у этих брюхо зудит от икры, и они скребутся, ко дну прижимаясь. Здесь их отлив и прихватывает птицам на потраву.

Если взять ножик поострей и полоснуть такую рыбу по брюшине, из неё сразу же бесплатно вывалится до двух килограммов красной икры, той самой, которая деликатес. Икра помещается в двух чулках из прозрачной плевы, с виду целлофановых. Брать плеву в рот – ни ни. У командора Беринга кто-то, говорят, из команды в здешних местах на тот свет убыл по неопытности. Сперва икру продавливают сквозь сито с подходящими ячейками, чтобы плева осталась, а зернь проскочила. Потом ещё раз. Потом дважды моют на скорую руку и заливают солёным раствором. Минут через двадцать, от силы – полчаса, образуется всем известное по картинкам яство, каким нынче питаются, дай Бог здоровья, правительство, космонавты и за рубежом.

Икру дядя Коля, конечно, употребляет за моё почтение, но на косяке у него напрочь отшибает аппетит, как у повара, когда тот, в кухне стряпая, нанохается всякой всячины. Вдобавок у него ещё и вкус извращённый: он считает, будто красивая женщина та, что на сносях, и ничем его не разубедишь. А насчёт кижучей он может подробно рассказать, даром что слов у него, если сотня наберётся, то хорошо.

Для начала он одной рукой показывает на рыбу, другой чешет живот и быстро-быстро лопочет по-корейски. Это понятно. Потом он круглым жестом захватывает море подмышку до самых устьев и, поочередно ткнув перстом в рыбу и себе в рот, начинает двигать челюстями, точно жерновами, и зубы у него скрипят, будто гвозди перетирают. Резко оборотившись к реке, он вдруг прекращает жвачку, запечатывает рот ладонью и убедительно мычит, показывая, что в пресной воде кижуч перестаёт есть. Затем его кривой грязноватый палец чертит линию вдоль по реке, за посёлок и выше, и круто забирает в тундру. При этом дядя Коля привстаёт на цыпочки: рука наотмашь, пальцы растопырены и любому ясно, что за посёлком рыбы свернут в протоки, каждая в свою, и разбредутся по рукавам, каждая в свой, а рукавов этих побольше, чем у него пальцев, когда он аплодирует. Перекаты там вообще гиблые, воды местами по дяди колину шиколотку, и рыбе плыть по такой воде – уффф! Он таращит глаза, пыхтит, работает локтями и делает вид, что задыхается. Лицо у него вытянуто, скулы пропали и он почему-то похож на европейца, а не на рыбу, что ползёт по камням, наполовину из воды высунясь.

Наконец, трудности перебороты, и рыба входит в ту же заводь, где сама когда-то из икринки проклюнулась. Отдохнув и поднакопившись, она затевает свадьбу. Что творится! Вода в заводи, как в котле. Дим-дади-дум-дум! дим-дади-дум!.. Манипуляциями, ужимками, прыжками и телодвижением дядя Коля показывает, как это скопище пляшет, бесится и трётся друг о друга. Потерев ожесточённо руками, он сначала пристраивает ладонь к собственной заднице и отмахивает ею наподобие плавника, а после этого перемещает руки на срамное место и воображает себя писающим вкруговую с разбрызгом. Это вот что означает: женщины мечут икру, мужчины поливают её молоком. А дальше... дальше дядя Коля закрывает глаза, безвольно роняет руки, сгибает колени и едва не валится замертво, как рыба, которая подыхает тут же после свадьбы. Если ему не поверить, он достанет нож, порежет мякоть у запястья и, вновь приладив ладонь вместо хвоста, начнёт помавать ею и кропить землю кровью, чтобы всем воочию было, как рыба, выметав икру, истекает до капли... Такой он краснобай, дядя Коля.

Он спугивает на ходу скандальных чаек и угадывает, что впереди ещё одна такая же русалка, больно уж птиц там собралось, песка не видать. Птицы кижуча раньше срока не тронут. Они знают: эта вот блестящая туша так может хвостом огреть, что кишки вон, и инстинктом ждут, когда рыба заснёт наверняка. А дядя Коля вмешивается, и они громко бастуют, взмывая над ним, как пух из разорванной перины. Чаек дядя Коля тоже едал, но они жёсткие

и вонючие и их надо сутками в уксусе вымачивать. Впрочем, это давно было, когда он только-только в посёлок приехал.

Их привезли по большой воде на пяти кунгасах, крытых брезентом. Люди думали, что уголь на зиму, а оттуда корейцы выскочили за малым не триста душ и как один – мужики. То-то было радости, то-то волнений! Посёлок позабытый, население – почти одно бабье с рыбокомбината, не жили, а рассказывают, куски сшибали: хоть встречный, хоть заразный, хоть кто, лишь бы в штанах, и вдруг – нате вам, бабоньки! Мигом разговелись, за неделю замуж повыходили безо всяких формальностей, за год детей понарожали, немного, верно, раскосых, но шалых, светлоглазых и, главное, крепких. Тогда же подметили, что свальный блуд в посёлке сошёл на нет, остался один только любительский, а выручка от продажи алкоголя против прежнего оставила желать хоть бы какого-нито выполнения.

Гуртовые загулы, конечно, происходили, но уже либо по годовым праздникам, либо невзначай, как с кепом Манько, хотя случай этот совсем особый. Тогда зима была, штормило крепко, и из шести колхозных сейнеров пять, заколодев ото льда, сыграли на море «оверкиль» вместе с командами. Один лишь Манько привёл свой айсберг в устья и сел на мель, откуда его и сняли подпорченного умом. Его бы сразу в жёлтый дом на перекладных спровадили, но народ не дал, пока кеп не пропил сберкнижку с геройской звёздочкой и не осточертел своей сумасшедшей песней: «Сидор прянет, рыба вянет, Чёрное море – корыто». Хотя приключилось это уже после приезда дяди Коли и к делу относится не сказать, мимоходом, но, в любом случае, наперёд.

Сначала корейцев разместили в чёрных бараках для сезонников, и они за несколько дней переели почти всех поселковых трезоров. К ним сразу же прискакал митинговать Зуёк из райпушнины. Он ходил по баракам, тряс для вразумления собачьим хвостом и призывал: «Шкуры отдайте, гады. Отдайте шкуры. На кой они вам вашу мать!», – а корейцы отпрыгивали псиной и что-то дружелюбно бормотали: не то собаки голые по улицам бегали, не то они их, обрив, скушали со шкуркой. Так он от них ничего и не добился, Зуёк. Впоследствии они перешли на рыбу и на свинину, которая там всё одно, что и рыба, поскольку свиней рыбой откармливают, а собаки вновь расплодились и, не помня зла, якшались с корейцами без дискриминаций. Однако и данный факт из жизни животных помянут загодя, потому что раньше всё-таки состоялась коллективная женитьба.

Их разобрали поштучно. Приходила немужняя молодуха, обсматривалась улыбисто, перебирала, как на базаре, манила рукой, – что стоишь? пошли, мол! – и вся недолга. Дядю Колю выбрала Натаха комолая, но его у неё отбила Кланы-лярва. Дядя Коля уже совсем было собрался с Натахой, но Кланы закричала: – «Эй, ходя! С кем идёшь, – ты! Глянь лучше, какие у меня ноги красивые!» – и заголилась. Дядя Коля глянул, а ноги под Кланей оказались, действительно, ничего себе, да и лицо не корявое, так что судьба его решилась в один погляд. Кругом все смеялись и орали корейским хором ему с Кланей вдогонку здравицу, очень похожую на «гоп, гоп, до того!»

Натаха и сама без мужа не осталась, другого взяла, не хуже дяди Коли: что непьющий, что понятливый, что работающий. Он даже сам к ней напросился, когда она от обиды расплакалась: подошёл, за руку тронул и на себя показал, а она ему засмеялась сквозь слезы. Им тоже «гоп, гоп» кричали, ещё громче, чем лярве с дядей Колей. Натаха своего потом жалела, как ни одного мужика, и ходил он у неё обстиранный, гладкий да с таким ещё под ручку гонором, что в самом деле подумаешь – любовь. Жили они душа в душу, и Натаха отблагодарила его четырьмя детьми.

Что до Кланы, то у неё раньше этого было двое: один от главного инженера, другой от райкомовского инструктора, и замуж ей надо было ужас, как срочно. Вот она и разжилась дядей Колей, хотя привычку свежака хватать так и не бросила, до самого до конца гуляла. Дядя Коля смотрел на её проделки сквозь пальцы и всех детей без разбору огребал к себе, не заботясь,

кто от кого, потому что в замужестве Кланы третьего родила от заезжего судомеханика, двух близнецов от дяди Коли, а шестого – девочку – страшно подумать! – от мигука. Дядя Коля вынырнул эту американочку в конторе по ночам с такой кротостью и терпением, словно знал о жизни нечто более значительное, чем все кланины шашни, но был бессилён рассказать об этом в своей колыбельной:

«Сіпи, сіпи, д́оси,  
Сипи, сипи, Нади,  
Твоя папа – хоросо,  
Твоя мама – бряди».

Может, оно бы ничего и не стряслось, если б не обстоятельства. Под осень, на шестом уже году дяди колиного семейного счастья, у рыбокомбината со стороны реки ошвартовался американский сухогруз, который велено было набить с походом икрой и отпустить подобру-поздорову. Невзирая, что команде запретили сходить на берег и разрешили в полприщур поглядывать с борта на заграждения с охраной, всех корейцев подчистую согнали опять в те же бараки и держали взаперти, пока судно грузилось. В такой-то вечер лярва и прошмыгнула на корабль. Мужики дивились: чёрт её душу знает, как ей это удалось, а баб интересовало другое: когда она успевала и дяде Коле передачи носить, и того-этого. Доллары у неё, понятно, изъяли в пользу мирного неба над головой и допросили со всей строгостью, но Кланы уже хлопала себя по животу и шумела, что у неё теперь сам Эйзенхауэр в кумовья повёрстан, а алименты она себе через НАТО требует, если захочет, и так далее. Ей резонили, резонили, да её разве переспоришь? С тем и выпустили.

К слову, с этим сухогрузом крупные нелады вышли. Грузчиков подбирали по партийному признаку, но среди простонародья таких было мало, пришлось комсомол подключать. В общем, сколотили бригаду с бору по сосенке. А чтоб не осрамиться, выдали грузчикам костюмы из шевиота через рыбокооп и штиблеты на скрипучем ходу, так что попервах они выглядели дипломатами, затем – бродягами и уголовниками, а когда пришёл американцу час якоря вздымать, это уже такая была шарага оборванцев, на каких глядеть стыд; чужие матросы тюкали на них пальцами и подышали со смеху. Тогда же и дядю Колю освободили, но было поздно. А стоимость костюмов и обуви у грузчиков вычли из заработка. Правда, не у всех; много было таких, что отвергались.

Не успел дядя Коля домой воротиться и не успел сухогруз из устьев к рейду выволочься, как на буксире лопнул трос. Старший моторист Лагерев знаками попросил у американцев конец, и они кинули ему линь, на каком хозяйки белье сушить вешают. Лагерев заругался и спихнул его в воду. Американцы выбрали и кинули вторично, показав жестами, – крепи, давай, без разговоров. Тот, матерясь, закрепил шпагатину и дал «вперёд помалу». Шпагат выдержал. Лагерев прибавил оборотов. Шнурок звенел струной, но не рвался. Тогда на буксире придавили вовсю и вытянули сухогруз на рейд, словно он там и был. Капроновый линь американцы Лагереву на память подарили, и он свистнул при всех: «Вот так верёвка! Крепче, чем советская власть на Камчатке!» – увязав оба происшествия воедино, потому что, когда у грузчиков удерживали из полочки за костюмы, Лагерев с треском вышибли из рядов и перевели из старших мотористов в разнорабочие. Только он не дурак; через год опять вступил и в должности восстановился, зарёкшись до смерти говорить вслух то, о чём думается. А у дяди Коли о ту пору выдался единственный, будь он трижды неладен, длинный выходной с прибавкой в семействе.

Стащив к морю ещё трёх кижучей, дядя Коля переводит дух. Оно бы, конечно, сподручней в реку бросить, но нельзя: рыба без памяти – всё равно, что больная; ей весь расчёт в сознание приходить там, где была, а от резкой перемены стихий она не проснётся, а очень просто уснуть может животом кверху. Живую рыбу от мёртвой он по зраку отличает, но не

так, как об этом рассусоливают защитники среды обитания на зарплате: лежит, дескать, рыба и до того выразительно на тебя смотрит, до того ртом плачевно кривится, как только не скажет: «Помоги, товарищ». Он знает, что взгляд у рыбы безликий и холодный, как рыба кровь, только и того, что есть в нём какая-то искра, пока она живая, а как умрёт, искра потухнет и глаз у неё делается точь-в-точь обкатанная морем склянка. И живёт она, пока у неё воздушные мешки до отказа не разопрёт, как утопленнику лёгкие. Всю подноготную он о рыбах знает, – не зря провёл с ними целый отпуск.

В отпуске он был тоже единственный раз и не милостью месткома, а оказией, когда сроки договора истекли, и папа Ким приказал корейцам возвращаться на родину. Тогда в посёлок под вечер опять пригнали кунгасы, а на них взвод солдат с пограничным нарядом. На следующий день с утра вой на берегу стоял дыбом, – страшней, чем когда мужиков на войну в сорок первом забирали. Оно и понятно: там хоть какая-нито надежда была на «авось», а тут уже ничего не было, совсем ничего. Заводилой среди баб с детьми выбилась Натаха комолая, что ни есть смиренная и незлобивая в посёлке. Своего корейца она отпевала чистым, тонким и таким летучим голосом, что по всем улицам слышать.

«Ой, кормилец ты мой родненький,  
Голубочек ты мой ласковый,  
На кого ж ты меня покидаешь?  
На кого оставляешь деточек,  
Малолеточков своих птушечек,  
По белу свету сиротами рость?  
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а!»

Бабы заходились разом без уговора: – «Ах-ха-ха-ха-ха-а-а!» Детвора тоже надавала до звона в ушах. Да и корейцы с кунгасов не помалкивали: кто скулил, как недобитый, кто лаялся, кто что. Одни только солдаты стояли стенкой, вроде неживые: глядят поверх, воды в рот набравши, разве что «не положено» скажут, когда толпа напрёт, и от рук у них земляничным мылом отдавало, а от автоматов – новой мебелью. Из-за солдатской стены два офицера и уполномоченный в штатском наблюдают. Курят, носами водят, Натаху слушая, переговариваются. Несознательный, мол, у нас народ, бестолковый. С таким народом хлопот не оберёшься, хоть ты их агитируй, хоть нет. Им лишь раз дай, а в другой раз сами возьмут. Ишь, стерва, выводит! Почуще, чем в операх.

«Да какá вражина лютая  
На моё счастье позарилась,  
Счастье бедное, незавидное,  
Кусок хлеба да покой в дому?  
И какá змея подколотная  
Разорила гнездо малое,  
Разодрала душу надвое,  
Из груди сердце повынула,  
На посмешку людям кинула?  
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а!»

Но в общем, всё обошлось без последствий. Собрали корейцев за минусом померших, погрузили в кунгасы и отправили на пароход, а потом на родину, как договаривались. Двое в устьях вспороли бритвой брезент и – в воду. Одного выловили, а другого отминусовали. Вода – что в реке, что в море – выше плюс четырёх не бывает даже летом; в такой купели

долго не поплаваешь, раз-два и – заоченел. Конечно, кому охота к псине по карточкам заново приноравливаться? Вот они и цеплялись за баб, за детишек, за то, за сё. Да и бабы не лучше. Не расписавшись, походились, наплодили детей незаконных, а потом кто-то им виноват. Сказано, нельзя, значит, нельзя, а захотели по-своему, – пусть не обижаются.

Дядя Коля не стал ждать особого приглашения. Как пригнали порожние кунгасы и внутренние войска, так он той же ночью переправился по реке на другой берег и дал стрекача в тундру, – без вещей, без продуктов, как был. Думали, – пропадёт, а он, недели три пережда, вернулся живой, невредимый и ничуть не худой. О своём дезертирстве он поведал в обычной для него манере: «Риба есь – хоросо есь, риба нет – хоросо нет». Как раз кижуч нереститься шёл сплошняком, так он сидел где-то у заводи на перекате, резал беременных самок и пригоршнями жрал икру, допрёж вымочив её в проточной воде. Ему не было там холодно и он не бегал до ветру, потому что икра не просто усваивалась, а словно бы сгорала внутри ровным пламенем и не давала отходов: за три недели он столько же раз, почитай, и штаны сымал. На первых порах его донимали от этого разные страхи, но вскоре он понял и успокоился. Он бы и дольше сидел, но «риба» сошла, а помимо неё в тундре ничего доступного больше не было, и дядя Коля побрёл в посёлок.

Его и ещё троих таких же хитроглазых вызвал к себе уполномоченный в штатском, отмастерил как следует и сказал, что все они померли согласно отчётности, а это значит, сидеть им теперь в посёлке, писем на родину не писать и дальше района не рыпаться, чтоб не засекали. А дядя Коля и не думал рыпаться; взял свой «вид» и продолжал жить так же бесподданно, как до этого жил. Во время переписи его зачислили в коряки, и он не возражал. Только раз ещё побеспокоил его тот же уполномоченный, – это, когда с китайцами большие свары у нас были на границе.

В те дни по посёлку пронёсся слух, будто не сегодня-завтра китайцы отымут у нас Дальний Восток и отдадут Камчатку корейцам, а здешние, мол, поселковые, всё уже поделили промеж собой и будут управлять. Дяде Коле, как самому отсталому, достались острова, и он их, наверное, продаст незадорого, потому что власть из него – смех один, никто подчиняться не станет. С ним после того долго ещё здоровались и обязательно спрашивали: «Ну, как, дядя Коля, острова ещё целые? не прода́л?»

По этой причине дезертиров опять позвали к уполномоченному. Тот громко сердился, заряжал-разряжал пистолет, советовал одуматься на месте и признаться по-хорошему, а затем расстелил карту и потребовал, чтобы дядя Коля показал ему свои новые владения. Дядя Коля по неразвитости долго не мог сообразить, в чём дело, пока ему земляки не растолковали, в чём. Тогда он сказал уполномоченному: «Турак есь – хоросо нет» – а уполномоченный ему за это сперва в зубы кулаком въехал, а потом выгнал и дядю Колю, и всех.

Всё это не иначе, как со скуки. Если должность ответственная, а дела нет, надо придумывать, – вот и получается. И с уполномоченным получилось. Да и то сказать: после отъезда корейцев до того стало в посёлке муторно, что если б не разгул с пьянкой, вовсе было бы невыносимо. И пошла жизнь отмечаться, как прежде, не годами, а событиями: то привезли корейцев, то увезли, то Фролин-бригадир семью топором вырубил и сам зарубился, то летом кит самоубийство совершил, на берег кинувшись, то зимой сейнер туда же вынесло, – весь экипаж перемерз, больше двадцати душ, а локатор, сволочь, показывал до земли полтора километра... А то ещё случай был тоже памятный: цунами шёл с волной двадцать пять в вышину, а в посёлке всего один дом из бетона более-менее. Все, ясно, – к нему. Стук-постук, а там начальство спасается, вертолёт ждёт от вышестоящих, и милиция даже по партбилетам не каждого пропускает. Хорошо, что волна о дядиколины острова расшиблась и измельчала, да вдобавок её отливом подсекло и в горочку раскатало, так что больше получилось пользы, чем вреда: окатило посёлок, точно половодьем, и всю пакость, какая за годы набралась, одним махом в реку сбросило вместе с курами и мелкой живностью. Такой вышел субботник, что хоть берёзки

высаживай, если б они тут расти могли. А вертолёт, между прочим, от вышестоящих так и не прилетел. Товарищ Геласимов, себя жалеючи, плакал в нетрезвом виде и кричал на людях: «Этого надо было ожидать...»

Дядя Коля стоит, понурясь, и смотрит на рыбу. Эта уже – всё. Никуда не поплывёт и на свадьбе на рыбьей уже ей не гулять. Зрачок у неё потух, и чайки почуяли, что пора, – совсем вблизи скучились. Он их разогнал, а сам теперь скорбит и, похоже, молится рыбе, потому что – нехристь, язычник. Передать его молитву слово в слово никак нельзя, а ежели по голосу, то он, должно быть, извиняется перед рыбой, что не успел вызволить, рассказывает ей о своём житье, чтобы задобрить, благодарит за икру, которую он у неё сейчас возьмёт, утешает её мёртвую, что она не напрасно век прожила, и обещает навещать сюда, если жив будет.

Он достаёт складной нож, опускается на корточки, подваживает кижуча на колено и, прободав жалом, вспарывает по брюху от головы к хвосту. Рыбье сердце уже перестало качать, поэтому кровь не брызжет росно на руки, а еле-еле пачкает острие и нехотя каплет вниз. Из прорехи в пластиковый мешок вываливается икра в родимой плеве, и он, обтерев лезвие о штанину, хоронит её от рыбонадзора под фуфайку. Вот и всё. Но прежде чем отвернуться, он произносит ещё несколько языческих сакраменталий, кратких, как ругань, и негромких, как заповедь.

Пройдя косу до конца, он долго стоит, печальный и задумчивый, точно перед дальней дорогой, и ноздри у него подрагивают от йодистой свежести моря, и глаза жмурятся больше обычного. Отсюда до устьев рукой подать, и ему видно, как там нерпы резвятся. Когда в устьях встанет рейсовый лайнер, нерпы вокруг него собираются музыку послушать и слушают, выставив пассажирам напоказ умные свои прилизанные морды. Но сейчас парохота нет, и стая нерп маячит, как поплавки, совсем неподалёку.

На них поохотиться приходил сюда раз Димка Климов из судосборной. Опрочь ружья, он взял транзисторный кассетник для приманки и мечтал наколотить штуки три-четыре под вальсок, а музыкой его снабдила врачиха Люська Шелгунова, – он с ней гулял. На одной кассете, говорит, было написано: Калинников. Он, конечно, устроился, ружье подладил наизготовку и пустил этого Калинникова. Нерпы почему-то не подплывали, и Димка, незаметно для себя, принялся черт знает куда глядеть и чёрт знает о чём думать, – одну эту лишь плёнку и прокручивал, а про охоту забыл. И часы у него, как назло, стали. Так что, когда он опомнился и горизонтом поинтересовался, его кучерявая причёска распрямилась и встала торчмя, а шапка наземь полетела. Он её не стал подбирать, а тут же дал тягу, бросив заодно магнитофон, ружье и дублёрку, чтобы резвей бежать было. Прилив догнал его и схватил за пятки близ пограничного столба, но он кой-как вырвался. Люську он, чудак-человек, тоже из-за этого бросил, что-де она это нарочно ему подстроила. А самое чудное, что он пить перестал, пристрастившись к симфониям, – его от них теперь за уши не оттянешь, а Калинников для него первый человек.

Дядя Коля здорово рассказывает, как Димка драл отсюда во все лопатки. Вообще, он мастер рассказывать, и слушать его – развлечение, только здешний народ не очень-то удивишь. Рассказывай им, не рассказывай – все одно говорят: «Бывает». Двое комбинатских дихлорэтана вместо водки хлебнули и сгорели насмерть, – бывает. Директор школы с ученицами живёт, – бывает. Уёк сутками подряд на нерест шёл вдоль побережья и так гирло заткнул, что ни одна посуда не могла к рыбоприёму пробиться. И ни один дурак не догадался лов на время приостановить. Рыбу ловили, ловили, да потом тоннами в море же выкидывалидохлую, – бывает. Здесь всё бывает.

Только об одном случае так не говорят, потому что случая такого никогда прежде не было и неизвестно, будет ли. Зайцы на посёлок напали, – ещё до цунами. Тьма тьмущая зайцев, страсть глядеть. Видимо-невидимо. Откуда их столько набралось, – наверное, со всей тундры. Среди бела дня они тучей прошли по улицам и дворам, и никто им не помешал. Собаки притаились и нишкнули. Люди, объятые жутью, позакрывались где попало: дома, так дома, на работе,

так на работе. Никакого ущерба зайцы не причинили, только землю помётом обгадили. Они вышли к лукоморью, с быстротой саранчи сожрали завалы морских водорослей и удалились восвояси, предоставив жителям даваться диву сколько влезет. Этот случай дядя Коля отлично помнит, но не умеет его объяснить.

В посёлок он возвращается так же не торопясь, как пришёл. Когда он добирается до места, где оставил мёртвого кижуча, там уже ничего нет, – одни кости да чешуйчатая шелуха. До ближайшего прилива.

## Тамарочка

- А ну, домой, кому сказано? Санька!
- Лёля-а! Лёленька-а! Аушеньки-и!
- Драндулет! Завтра тебе не жить, понял? Не выходи.
- Боялся! Хер ты меня ещё догонишь.
- У-у, сатаняка, вывозился! У-у, паразит!
- Не хочу-у-у!
- Ах ты, паскуда!
- Сорока, ворона, деткам кашку варила...
- Я тебе дам «не брал». А кто брал? Убью гада!
- Зубастик, головастик, на верёвочке пупок!
- А ты – отщепенец! – Ин-цын-дент! У тебя отец в тюрьме.
- Трепись! Отец – честный жулик...
- Марш!
- Мам, а секс по телику будет?
- Будет, доченька, будет. Всё тебе будет, только пойдём.
- Швабра ты облезлая – вот кто. Чья бы мычала...
- Ты мне не тычь! Я с тобой свиней не пасла!
- Ну, котик, ну, зайныка, ну, будь умничка, умоляю...
- Санька, стерва, чтоб тебе распрочёрт! Ты у меня дождёшься!

Детей загоняют спать. Конец субботнего дня – конец детской вольнице. А дома духота и со двора не хочется уходить. Здесь шумно и весело: тёти ссорятся, из окон музыка гремит всякая, машины туда-сюда по улице снуют и дядя Виталька Мотыль орёт, с балкона свесившись:

– Тюря, эй, Тюря! Проспорил! Воткнули армяшки твоим грузинам по самые помидоры! Один – ноль для поддержки штанов, – ха-ха!

Под единственным во дворе взрослым деревом десятка полтора мужчин, кто сидя, кто стоя. Над ними белым светом сияет сайровая лампа на гибком шнуре. Вокруг лампы вьётся столбом насекомая нечисть и, ожёгшись, осыпается на головы и на стол, который трещит от жестоких ударов по его дощатой поверхности. Разговор всеобщий, но размеренный, под перестук:

- Сам поеду и товарища прокачу.
- Как всё хорошо начиналось. Вызывают в Москву. Еду.
- Голым задом по дороге. – Бац! – Цепляйся за двоечный.
- Обойдётся. – Бац! – Так вам, говоришь, Павлик и денег не высылает?
- Штырлиц сунул руку в карман и подумал: «Это конец. Сажусь». – Бац!
- Ничего. Где сел, там и слезешь. – Бац! – Ставь баян.
- С удовольствием. – Бац!
- С удовольствием дороже.
- Бац! Бац! Бац!
- Благодаря мудрой политике...
- Я ж сказал: главное, не спать и усиленное питание. – Бац! Бац! Бац! Бац! Бац!
- Макар Иваныч накрылся.
- Пламенный привет покойникам. – Бац!
- Колхоз поможет.
- А догонит, ещё поможет.
- Ха-ха-ха, как он его кинул.
- Телись скорей, чего тянешь?

- Себе думаю. – Бац!
- Индюк думал. – Бац!
- Ну, делай по и – вася.
- Он её где возьмёт? От сырости?
- В Московском институте международных отношений – МИМО!
- Не по росту женился. Не достанешь.
- А мы её с тубаретки.
- Бац! Бац! Бац!
- Товарищ Провезенский.
- Еду, еду, еду к ней...
- Да на́, на́. Для друга у меня навалом.
- Бац! Бац! Бац! Ба-бах!
- Официант, счёт!
- Бабки!

Играют в домино на интерес и на высадку. Смена состава. Звяк пятнашек и двугривенных в консервной банке. Беззлобная ругань. Перекур. Сумерки. В домах огни вразброс. И жарко. Асфальт и здания за день накалились и будут остывать до утра. В подмышках у всех скользко и противно. Детвора и женщины понемногу расходятся. От наступившего затишья больше слышна жара и крепче запахи от пивной будки. Досугу, однако, это не мешает, и конца игре раньше, чем за полночь, не видно.

Этот незатейливый и весьма по субботам обыкновенный кавардак нарушается, не сказать, чтобы, громко, но как-то протяжно и свежо:

- О-ой! О-о-ой! Ой-ёй! О-о-о-э-а-а!

Голос женский, вялый, с ленцой и как бы через силу, будто несчастную режут тупым ножом и никак до крови не доберутся. Хорошо, когда знаешь, что это не так, а доведись тут кому быть впервые, завидовать нечему: самочувствие, как в лесу, и голова полна всякого вздора, что, мол, жизнь есть жизнь, и каждому в ней – одно из двух: если мужчина, то – палач, если женщина, то – жертва, которую надо время от времени оборонять, вызволять и на первых порах поддерживать материально.

- Ой, изверг! Ой, мучитель! Ой, зверь! Ой-вай!

Это Тamarочка из сорок седьмой. Квартира у неё на втором этаже – палаты трёхкомнатные: потолок под «слоновью кость», вместо обоев ковры и, вообще, чего-чего нет, а она там царица мира: ни мужа, ни детишек, ни родни, сама себе хозяйка плюс простор – полста метров на единственную тамарочкину душу. А кричит по делу, это ясно. Без дела так не кричат. Наверное, негодяй какой с улицы забрался. Теперь она от него отбивается, что мочи, и соседям даёт знать, как трудно молодой, интересной женщине сдюжить с нахалом, особенно, когда такой живодёр попадётся, у которого, поди, шерсть на плечах свалялась от дикости.

У доминошников перебой. Играли-играли и – «ничья», как в шахматах. Кто-то уже задрал руку, чтобы ахнуть как следует по столу и провозгласить «рыбу», но поймал зов Тamarочки, сник, расклеился и куда что девалось. Остальные тоже. Все стали похожими, словно родные братья или любители птичьего пения в момент какого-нибудь заковыристого коленца: голова набок поехала, рот открыт, глаза прижмурены, дыхание выключено.

- Задавил, кобель, задавил! Да что ж ты делаешь?! Ой, душа с телом прощается!

У Тamarочки, видать, много чего внутри накопело, и она норовит разрешиться крещендо и скороговоркой. Получаются стихи. У них, правда, нет складу, зато есть лад, вольготность и ритмическая качель, а для стихов это первый признак. Об их содержании говорить было бы преждевременно, так как возглас Тamarочки «Ой, хорошо!» разъясняет, что дело, в действительности, не так уж скверно, как могло показаться вначале. После краткого, жизнерадостного

вопля наступает перерыв, тоже краткий, и слушатели быстро-быстро обмениваются замечаниями; время не ждёт, а человек отзывчив, – этого у него не отнять.

- Забирает...
- Даёт стране угля...
- Погоди ещё...
- Кто у неё там? Горсовет?
- Не. Гаишник.
- Во, стручок. Повадился.
- Какой гаишник? Прораб...
- Гаишник. Абдулла видел.
- Абдулла, ты видел?
- Ну.
- Чшшш! Тиххха!

Пауза отмечена до черты, за которой вновь звучит соло с трелями и воркованием, где каждый переход – игра мечты и трепет воображения. Раньше кой у кого была задумка опорочить Тamarочку, подловив её на слове или предсказав очередной комплимент, но спустя время пришлось это занятие бросить; легче оказалось угадать цифру в спортлото, чем прогнозировать сиюминутное будущее.

Она тут живёт не так давно. А до этого проживала в таком доме, в таком доме, что, по её же словам, – ой-ой-ой! – только молодой месяц в верхней точке стояния мог бы засветить, что за дом, что за дом, что за ёлочки кругом. Женщин там не было, были дамы. А мужчины, – ну, такой народ расчудесный! – стаж вместо возраста, костюмы из авторитета и большие мастера по земле языком ходить. Многим из них ввиду преклонного стажа и подорванного тяжёлой работой здоровья пришлось проходить у Тamarочки курс натуральной терапии.

Являлись они к ней вялые, ни дать ни взять утопленники, и грустные, как десятая свадьба. Она тут же брала их в оборот и возрождала, то есть, откачивала, отхаживала, ставила на ноги и, что больше всего удивляет, не делала из своего ремесла никаких таких особых секретов.

– А мы ему а-та-та! А мы ему массаж! А мы его за границу! А ну, айда-поехали! Париж, Рим, Берлин... Ать-два, ать-два, левой! Сперва пулемёт, потом миномёт, потом пушка... Вот партизан! Вот молодчик! А мы его на курорт! Батуми, Сухуми, Сочи, пересадка, Гагры, Алупка, Херсон... По шпалам! По шпалам! Через Житомир в Пензу!.. Вот, голубчик, красавчик, селиванчик! Во какие мы стали образцовые: два раза ухватить, раз укусить!..

Только глухому было невдомёк, что с клиентом деемся ренессанс. Всего полчаса, как этот самый клиент поступил к ней – краше в гроб кладут: обветшала голова, замшелое брюхо, ноги со скрипом в суставах, короче, мамалыга-мамалыгой, и вдруг начал резвиться, точно молодой шимпанзе или здоровый сельский тузик. Дело явно шло на поправку, и Тamarочка информировала об этом всех, имеющих уши слышать:

– Жеребец ты мой! Племенник ты мой! Бычок в три обхвата! А притворялся сковородки мазать! У-у, озорник! У-у, производитель! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!

Она честно делилась накопленным опытом и говорила, что иначе с ними нельзя, надо обязательно сулить, поощрять, славить и всячески прищипдоривать, чтобы хоть какого толку добиться, потому что мужчинки из них – оторви да брось, квёлые, а то и вовсе никудышные. Впрочем, что бы Тamarочка ни говорила, а после неё деятель чувствовал себя как штык, и уже к завтраму готов был заседать, где попало, и выступать, сколько придётся, зная, как своих пять пальцев, кому и чем он обязан.

В том большом кружевном здании свили ей двухкомнатное гнездо с кондиционным воздухом, и жила бы она там по сей день, да сильно взъелись на неё дамы и дня не чаяли со света сжить за то, что она лучше их. Чем? – сказать мигом не скажешь, только лучше – и всё. С собой она вовсе не набивалась к верстовым красоткам из модных журналов и была им противопо-

ложна решительно по всем приметам, но эти приметы как раз и заставляли мужчин с положением подбирать животы, косить глазами, вертеть шеей и выглядеть приличней, чем на практике. Если назвать Тamarочку красивой, нелишне добавить, что красота у неё была какая-то ржаная, пшеничная, одним словом, хлебная, и волосы тоже были урожайные, под цвет спелого поля, и в синих глазах по жаворонку. Моды с фасонами ничуть её не красили. До обеда она трудилась лаборанткой на санэпидстанции и в простеньком халате смахивала, самое малое, на снежную королеву. Да и вообще, нельзя, казалось, придумать наряд, который бы ей не личил, будь он хоть из мешковины, потому что в любой одежде и при любой погоде Тamarочка была так же приглядна и заметна, как, предположим, Рязань в Аргентине без поправки на климат. Характер у неё тоже был замешан на дрожжах и давал себя знать чуть что:

– А чего мне «потеше»? Чего «потеше»? Ты губы не очень-то распускай! Какое твоё воблое дело? Я ж к тебе не лезу? Тебе нравится, как рыбы в аквариуме, – ну и что? А мне по-другому нравится, понятно? Ишь, нашла на вкус и цвет товарища... И не заедайся, дета, глаза заплюю. Твой-то, может, только и слов хороших послушает, что у меня...

В конце концов, это её и погубило. Скандал, не скандал, а коллективка в ажурном дворце назрела, можно сказать, на все сто. Дамы фыркали, закатывали истерику, падали в обморок, приходили в себя, визжали «бандерша!» и опять теряли сознание, а мужья говорили «яблоко раздора» и думали-гадали, куда оно катится, и что с ним, наливным, делать. Закон, он что? Строгий. Если ты какой ни есть, а руководитель, так он тебе укажет прямым параграфом: «Как же ты, дорогой товарищ, будешь ответственную должность отправлять, когда у тебя в семье дым коромыслом? Нет, товарищ дорогой, уж если ты с женой не сладишь, то с государственной службой и подавно. Поди-ка ты в частном порядке»... Так то в частном, а тут, шутка ли, дом с фундамента на крышу пошёл, учреждения заколебались. Пришлось Тamarочке откочевать. А она и не жалела, потому что было ей там не житьё, а чистая каторга и никакого простору. То ли дело здесь, на улице имени 26 Бакинских Комиссаров в доме имени Фиолетова номер пять дробь тридцать четыре.

– А ну, давай, первернись! Ногой, говорю, голосуй! Ножкой, ножкой! Ещё! Не спеши! Вот так! И я за него! Ну, пошёл... Вот это конкретно! Вот это я понимаю! Вот это с прокрутом!.. Ну, зафургонил, засупонил, задул!.. Ох, чтоб тебя!.. Ох, никогда так не было!..

Окна Тamarочки изнутри чуть-чуть подкрашены мягким лиловым светом, но он слишком слаб и далёк, чтобы создать какие-либо проекции по части борьбы, которая там происходит. А приёмов у неё всяких побольше, чем во французской классической: решето, бутерброд, такси, ножницы, восьмое марта, какой-то двойной Самсон – со счёта собьёшься...

Здесьние женщины тоже её сперва не влюбились и сдуру составили клязу: мол, так и так, безобразия, у нас дети и прочее, просим привлечь – в таком духе. Конечно, дом склочный, сволочный, коммунальный, как большинство, а при двух выходных мало чего кому взбредёт в голову: один то, другой это, у третьего день рождения... Пишут, пишут, а что пишут, сами не знают, лишь бы писать. Они и раньше писали вплоть до Москвы, будто там дураки сидят безграмотные, газет не читают. Лишь спустя время сообразили, что в обход нынче куда ближе, чем напрямик.

К холодам жильцы заметили, что в доме стало теплей, чем в прошедшем или в позапрошедшем году. Бывало, что ни зима, ребятишки сопли точат, взрослые бюллетенят, а лабухам за похороны с музыкой сто рублей отдай как хочу, и вдруг – теплынь, ну, прямо, живи, цветы и пахни. В других домах, почти рядом, колотун, хоть собак гоняй, а фиолетовцы телевизоры повключают и сидят в одном исподнем. Короче, заметить заметили, а объясняли кто во что: заботами партии и правительства, медицинским экспериментом на выживание в масштабе города на случай атомной зимы и так далее, и никому не пришло на ум, что это всё – Тamarочка, которая вовремя пообщалась с кем надо, но вместо чудного возгласа, командующего высоких гостей «По шпалам! По шпалам!», соседи услышали... А впрочем, пардон. Никто

ничего, конечно, не услышал, потому что Тamarочка, зябко кутаясь в пуховый оренбургский полушалок, сказала клиенту совсем тихо: «Или ты, коця, будешь топить, как у себя, или вон тебе Бог, а вон – порог».

Пришлось топить. Даже более того. Отремонтировали подъездные пути-дороги. Поснимали наружные светильники. Поставили детям качели, навозили песку. Потом пришли пионеры с лозунгом «Зелёному другу – зелёный шум!» и под барабанную дробь наглухо блокировали дом молодой рощицей. Тут, понятно, все догадались, что за друг такой, и пошло, и пошло...

– Тamarочка, милочка, это тебя кто вчерась проведывал? Не Анафтолий Михалыч, слушаем?

А она, оперев руку в бедро, отвечает запросто, по-соседски:

– Он самый. Товарищ Подмарёв. А что?

Не успела поговорить – новый разговор:

– А скажи, милая, хахель твой к тебе так и ездит?

– Который, бабуся?

– Ну, энтот... котик-мурмотик... петушок...

– А-а! Товарищ Дундук. А куда он денется? Бывает, когда скажу.

– Эт хорошо, хорошо. Я уж, было-кесь, напужалась: чтой-то, думаю, машину евонную не видать? Насчёт ремонту я...

Вот и выходило, что и Подмарёв Анафтолий Михалыч, и Дундук-мурмотик могли многое, но Тamarочка супротив них могла вдсятеро. Взять хотя бы пивную будку. Как она её организовала – это же класс! В воскресенье мужчины хором сказали «Тamarочка», а к вечеру в понедельник на газоне за новенькой будкой трава от мочи пожухла. А ведь сколько трудящиеся просили, писали, требовали... Изнервничались все, а проку? Если б не она, Тamarочка, ходили бы, как прежде, освежаться в тридесятый квартал.

И женщины, – не такие уж они беспонятные, чтобы своей пользы не видеть, – сменили первоначальную злость на ревность, да и то, – больше для острастки.

– Иван! – зовёт жена, перегнувшись через балконные перила. – Ваня! Ужинать!

Блажен муж пригибается в толпе, как в кустарнике, и бормочет:

– Меня нет. Я пошёл к Артёму.

– Его нет! Он пошёл к Артёму! – честно отвечают двое отзывчивых в один голос.

– А ты чего рот раззявил? – слышится тремя этажами ниже, у самой земли. – Свербит? А ты сходи, сходи... Больно ты ей нужен, замазурик. Мотать набок она таких не хотела... Там, действительно, люди, – посмотреть приятно. Беспечут жену! Снабдевают семью! Из-под земли что хотишь достанут! И он туда же, алкаш рублёвый...

Это не злоба. Это мелочная женская месть. Не стоит обращать на неё внимание настоящим мужчинам, которых собралось уже человек двадцать, а то и больше.

– Давай, давай, давай! Ещё! Ещё! Так-так-так-так-так-так! Ещё разок! Ещё! Ну, с оттяжкой! Вот так! Вали! Ровней! Живей! Шуруй! Ах-ха! Ах-ха!..

Когда наступает передышка, толпой правит иллюзия полного соучастия, и каждый старается хотя бы морально подсобить Тamarочке в её трудном, но живом деле.

– Жми!

– Качай!

– Фугуй!

– Работай!

– Поспевай!

– Внедряй!

– Действуй!

– Претворяй!

- Выполняй!
- Осуществляй!
- Реализуй!
- Наддай!
- Пришпорь!
- Прибавь!
- Шибче!
- Круче!
- Ширше!
- Глубже!
- Дальше!
- Не тормози!
- Не подгадь!
- Не части!
- Не мелькай!
- Подтянись!
- Не отставай!
- Попусти!
- Придави!
- Дручком!
- Винтом!

– Вперёд! и так далее, включая реплику младшего брата, с акцентом, но достойно представляющего восторги национальных меньшинств:

- Ай, лубим руски баба! Ай, как лубим! Ай, маладесс!

Как правило, мужчины относятся к Тamarочке бережно, почтительно, можно сказать, благоговейно и взирают на неё так же, как читатели мужского пола на любимую поэтессу, искренне при этом забывая, что она тоже женщина. Тamarочка отвечает им полной взаимностью, имея опыт и взяв за принцип не пакостить соседу в карман, не давать, где живёт, и не жить, где даёт. За это её тоже ценят, женщины в особенности... Популярность у неё – куда там депутату Верховного Совета! Да и делает она куда больше, чем депутат. И хоть её деятельность не изливается благами в три ручья на всех и каждого, фиолетовцы знают, что у неё за спиной, как за каменной стеной. Столько она хорошего для них сделала, столько хорошего... Завтра, к примеру, воскресенье. Доминошники наиграли худо-бедно ведра на два пива, да ещё столько же Тamarочка поставит. Бесплатно. На водку она скупая, всех не упоишь, а вот побаловать мужчинок пивком по случаю седьмого светлого дня имеет женскую слабость.

Раза два-три на неделе к подъезду Тamarочки подруливают машины и из них выгружают то цельную баранью тушу в рогожке, то ящики с коньяком и шампанским, а то ковёр либо телевизор. Однажды привозили сборную тахту таких сказочных габаритов, что только бабе Яге кувыркатся: «Покачусь – повалюсь, Иванушкиного мясца наевшись!» Полдома сбежалось глядеть, как её, импортную, втаскивают по частям, и как её, семиспальную, устраивают в центральных покоях.

Дело обыкновенное: привозят Тamarочке – перепадает многим. Худшая часть барана тем, кто мясо редко нюхает. Лишний телевизор за треть цены. Фрукты, чтобы не испортились, многодетным. А уж сколько целковых и трёшниц у неё перебрали без отдачи! – и по нужде, и по слезам, и по крохам, – что говорить, кроме спасибо...

Всё-таки женщины не могут пересилить натуру и вести себя прилично, ни одна не может. Есть в них что-то продажное, товарное, рыночное, так бы и сказал – конъюнктура. Когда они глядят, как посыльные молодцы волокут к Тamarочке кучу всякого добра, их либо крупный

пот прошибает от зависти, либо губы пересыхают чуть не востресс, а в глазах одно и то же: «И я могла бы...»

– Ой! Ой! Задел! Достал! Зацепил! До печёнок! Ой! Шиколад! Мармелад! Халва! Ой! Милый! Годный! Сладкий! Хорррошенький! Ой-я! Режь меня! Люби меня! Казни меня! Вахррррр! Кусай! Щипай! Рррви на куски! Ой, подходит! Ой, скоро! Не останавлива...а...а...ааааа!

Долгий резаный крик обрывается на верхнем пределе Тмарочкиного контральто, и сразу же, как шок, чувствуется жуткая тишина, чёрный какой-то провал и пустота то ли в теле, то ли в жизни, то ли в надеждах, то ли шут его знает где. Эти смутные ощущения переживает каждый, потому что никто не уходит, все сидят или стоят заколдованные, пришибленные, неживые, лишь сопят глубоко и шумно. Посмотреть на них мимоходом – собрались люди, молчат, думают, а о чём? О чём думать, когда и без того ясно, да боязно. И непривычно тоже. Так повздыхав, покашляв и помычав, они потихоньку растекаются. Владелец переноски вывинчивает сайровую лампу, сматывает шнур и уходит. Остаётся ночная темнота и несколько человек, решивших сидеть до победы.

К тому времени, когда наши герои-космонавты включили на небе всё, что включается, и повернули держак к полуночи звёздный ковш, к дому подкатывает «Волга» и даёт два коротких гудка. Немного погодя, из подъезда выходит фигура и, не спеша, идёт к машине, где в альковном свете подфарников заметна услужливо приоткрытая дверца салона.

## Журналист

– Эй, журналист! А ну, выходи!

Нюрка стоит в тощем, словно золотухой побитом садике, собой – длинная, костлявая и замызганная до невозможности. Наметившись белёсыми от пьянства глазами на балкон третьего этажа, она машет рукой и напоминает кулачного бойца. Здесь её место. С другой стороны нельзя; там детишки бегают умытые, женщины под вечер джерси, какие поновей, разношивают, персональные машины с задними занавесками туда-сюда, бывает, проскакивают, мужчины здешние в домино по вечерам надсаживаются и фонтан фигурно выпятился: гипсовый пионер с горном, а из раструба вместо музыки должна, по идее, струя бить, но ни разу пока не ударила и вряд ли когда ударит, если воду не подведут. Это ничего. Пусть даже и не подведут, Нюрка рядом с пионером всё равно оставляет желать, чтобы её и духу там не было. С тыльной стороны дома – пожалуйста, другой разговор. Там садик, школьники когда-то насадили. Никто за него не в ответе, никто не присматривает, потому что общий, то есть, ничей, и в нём, среди чертополоха и лебеды, Нюрке торчать в самый раз. Это отсюда она задирается и рукой машет.

Противником у неё Вася Ипатов. Ходит она к нему по сезону и в разные дни, но старается к вечеру, когда народ с работы соберётся, а Нюрка, даром что возраст, и сама не без дела, да и Васе до пенсии ещё пахать да пахать в сельхозотделе областной газеты. Враг он ей – хуже не бывает, и не отцепится она от него добром, хоть ты ей говори, хоть нет, – это точно, об этом на всех пяти этажах знают. Её сколько ублажали: «Нюрка, да чхни ты на него. На кой он тебе сто лет приснился, кандей, здоровье на него тратить», – но всё напрасно, никого ей взамен не надо, а здоровьем своим каждый сам распоряжается, и нет такого закона, чтобы расходовать его только по указанию. Если Вася долго не выходит, она его подгоняет:

– Ага, супостат! Боишься, собачьи твои шары! Иди, иди, я тебе наведу критику на политику...

Случается, что Васи нет дома. Тогда, выругавшись на тот же балкон, она взывает ко всем жильцам безадресно:

– Скажите кандею, Нюра была. Придёт скоро.

И, потоптавши будяки, уходит. Но если Вася у себя дома, не было дня, чтобы он заупрямился и не вышел.

С виду он – ничего не скажешь: неприметный, обыкновенный. Улыбнёшься ему – он тоже; привет издали пошлешь – сразу же ответ получишь; руку подашь – пожмёт; подмигнёшь – и он подмигивать мастер; спросишь про жизнь – узнаешь, что жизнь у него либо молодая, либо ключом бьёт по голове, либо, как в Польше, причём, абсолютно без намёка на неприятности, которые там впоследствии разразились; ты ему – анекдот, он тебе – другой; ты рассмеялся, – глядишь, и он смеяться умеет. Ну, вот. Вроде и человек знакомый, и видишь его день в день, а зажмуришься припомнить, – не тут-то было, и не оттого, что память отшибло или слов недостаёт по скудости языка, а просто тип он такой: без признаков, без личных примет, даже как бы без определённого роста, не говоря уже о мелочах. Его и на групповых фотографиях трудно угадать. Смотришь, смотришь, – коллектив налицо: здесь шеф живот разложил, возле – зам норовит а-ля-Хемингуэль запечатлеться, дальше – ответсекретарь ногу на ногу закинул, рядом Васина Галя тувелькой с ним контактит, остальные тоже, кто где примостился, одного Васи нет. «А вот он, я», – показывает Вася на человека совершенно незнакомого, предоставляя вам смущаться до красноты. Газетный художник пробовал его на лоне природы изобразить, так «природа, – говорит, – удалась, только на лоне у неё дырка прохудилась». А что? – вполне возможно. Не всякому его портрет в руки даётся, а тем более словами или даже за хорошие деньги, потому что говорить о Васе вне обстоятельств и описывать зеркало без оправы – почти одно и то же.

Иное дело – на балконе, куда Вася на Нюркин клич выходит. Появляется он по-домашнему: оранжевые носочки, зелёные шлёпанцы, тёмные семейные трусы и уйма всяких характеристик. Прежде на них никто бы не обернулся, но теперь – ба! – да это же страхолюдие, вражеский шарж на цивилизацию и поклёп на природу: голова дулей, плечи стёсаны, шея – чисто у гусака, руки малость не до колен и весь он – спереди, сбоку и откуда ни прикинь – ровная по отвесу черта, лишь ноги внизу двоятся. Зевая, подходит он к перилам; одной рукой бедро чешет, другую схоронил за спину и держит в ней кирпич – не кирпич, но что-то крупное и под цвет носочков. Он ложится грудью на балясину, вытягивается шеей и кричит Нюрке:

– Чего тебе? Опять приплелась? А ну, линияй отсюда, покуда не поздно. Ишь, заладила! Вонючка!

Язык скандалов краток и выразителен, – иначе нельзя. Стиль, слог, правила – всё в нём своё, поэтому он похож и на лозунг, и на боевой призыв. Например: «Долой самодержавие!» Или: «Умрём как один!» А то просто: «Ура!» и дело с концом. А ежели сказать: «Пламенный привет работникам коммунального хозяйства, борющимся под знаменем качественного осуществления и перевыполнения принятых...» и так далее, – это даже и не лозунг, потому что стакан воды проглотишь, пока выкричишься. Скандал, как и лозунг, отличается краткостью фразы. Придаточные длинноты, деепричастное празднословие и вводная отсебятина вредят хорошему скандалу примерно так же, как истине доказательства. Писателям особенно следует об этом помнить, если они не хотят, чтобы их персонажи выглядели болтунами, а не порядочными скандалистами.

В этом смысле Вася прямо-таки молодец и очень натурально себя ведёт. Между прочим, он и факультет журнализма окончил, и слова всякие умеет, – хоть устные, хоть письменные, хоть какие, – и ничего патриотического не выдумывает, потому что знает: печать и жизнь – две большие разницы и не надо их путать, не надо в живом общении на газетную латынь сбиваться, а то придёшь однажды на работу, а там спросят: «Кто это тебе, Василий, шею узлом завязал?» И Нюрке много не нужно, – лишь бы ухватиться. Она и хватается, одышливо поводя боками, точно старая коняга из хомута вынутая.

– Так, так, так, – кивает она Васе. – Вонючка, значит? Ладно, вонючка. А ты, трепач, хто такой права качать? Ну, хто ты из себя? Балабол, кандей и больш ништо. – Она попутно добавляет ещё несколько выражений насчёт Васиной мамы-мантулечки, и об этом громко оповещает с дальнего балкона чей-то акселерат на изломе голосовых связок:

– Ма! Ну, скорей же! Нюрка пришла! Ругается!

Балабол – пусть, трепач – полбеда, но вот кандей... В лексиконах это слово не обозначено, толковать о нём по сегодня не взялись и неизвестно, когда ещё возьмутся. Васе от этого не легче, потому что чувствовать себя некомпетентным должность не позволяет, а обиду терпеть – добро бы от кого, только не от Нюрки. Пока Вася обижается, а Нюрка твердеет скулами, накаляясь похмельной стервозностью, места на балконах и в лоджиях разобраны от земли до крыши. Жильцы, – кто помылся, кто не успел, кто перекусил, кто нет, кто домой только-только приволокся, язык на плечо вывалив, – всё трын-трава, все на воздух сыпанули со стульями, с жёнами, с детьми, с пельменями, с сигаретами, с чайниками. Те, у кого балконы с невыгодной стороны, тоже здесь не сам-друг из-за обычая ходить на Нюрку семьями, как прежде к соседу на телевизор ходили. Места для гостей больше стоячие, но это даже хорошо, потому что ежели снизу глянуть, – лопни глаза! – чистый Колизей, а не пятиэтажная коммуналка.

Нюрка таскается по Васину душу давно, ещё до того, как он сюда перебрался. Раньше он в другом конце города жил и, как член союза журналистов подал на расширение, поскольку ему полагался отдельный дома кабинет, раз работа такая, чтобы не мешал никто, да ещё жена Галя, тоже журналистка, то есть, выходит, уже два кабинета, да двое детей, обе девочки, младшая от Васи, «а старшую, – заявлял он не без гордости, – я усыновил». Но как было расшириться, если в кабинетах проживал тогда еврейский клан на две семьи, человек, говорят, чёртова дюжина,

все конопатые, кривоносые, трэфного в рот не брали, субботы блюли паче Первомая, кур резать к равнину бегали и который год подряд просились у властей к высотам Синайским на покаяние.

Для начала Вася разгромил национальные пережитки статьёй «Кому это на руку?», после чего аидов прогнали с работы. Потом опубликовал фельетон «Частная лавочка», и их крепко штрафанули за спекуляцию не нашим барахлом. Затем было открытое письмо «Коллектив одобряет» (подпись чужая, пальцы Васиной) и ответ на него «Не пора ли одуматься, товарищи Мовшезоны?» (подпись Васиной). Короче, сел он на них за гонорары и не слезал до последнего. Гена Калитин из отдела писем ему нет-нет да говорил: «Вася, брось! Вася, притормози. Вася, не рви подмётки. Что ты делаешь, Вася? Иудеи твои уже не кур, а собственный член, поди, без соли доедают, – угомонись. Да и тема, старик, дерьмовая, коричневая, честно признаться». Но Вася не бросал, не тормозил и рвал подмётки, пока иудеев кагалом не спровадили к пресловутым высотам, что дало ему шанс тиснуть напоследок «Сорную траву долой с поля», а на Генкины советы отвечал: «Газетчик из тебя, ё-кэ-лэ-мэ-нэ! Правильно, дерьмовая. Ты вот скрути из дерьма конфетку, тогда я скажу, что ты журналист».

Касательно Генки Вася как в воду глядел: газетчик из него оказался, действительно, дырявый и его вскоре прогнали. А получилось так. Заскакивает как-то Генка в сельхозотдел, а сам температурит от азарта и криком кричит, что там-то и там-то два человечка на выход из партии подали и что его теперь командируют объективно с этим разобраться. Вася его поздравил, улыбнулся тоненько и выпроводил, так что он ещё с полчаса носился по отделам и до того трезвонил, – сквозь стены было слышать: «Ребята! Еду! Материал! Двое! Из рядов! Добровольно! Сознательно! С высшим образо...» Ну, и дурак же! Съездил, вернулся, а на него приказ. Должностное несоответствие. Не на своём месте товарищ, не по призванию трудится, без должного подъёма и так далее. Выходит, прав был Вася, когда поучал, что из чего путного немудрено конфеты крутить, а вот попробуй их из дерьма... Аргументы у него вообще были сильными и неожиданными. Он ими и горсовет задавил: «Я журналист! Я творец! Я баба! Я рожаю!» – пробиваясь сквозь толпу бездомных горожан, как беременная женщина, – животом. Проще говоря, свою расширенную жилплощадь Вася не призом за красоту взял, а из зубов, надо понимать, вырвал.

Враг, между тем, не дремал. Едва старшему литсотруднику Ипатову Василию Ивановичу вручили ордер с пожеланиями благополучных родов и всяческого многодетства, Нюрка уже выведала, – куда; он лишь дверь начерно прорубил, укрупняя две квартиры в одну, а она уже догадалась, где будет Васин кабинет; он только что приступил к антисемитской дезинфекции широкого жилья, а она тут как тут под балконом, – «Эй, журналист!» – кричит. Скандал получился, ей-ей, с новосельем, жильцы о таком соседе и мечтать не смели, а Нюрка с воем подавалась к себе в полуподвал хлорный раствор отмывать.

Война у них давнишняя. Они ещё и не знакомились, а конфликт уже назревал. Вася тогда был молодой студент и не наизусть ещё усвоил зачем, почему и на что людям нужны газеты, а у Нюрки короткий бабий век кончался. На исходе этого самого века и нагуляла она себе по пьяни глухонемую девочку с незабудковыми глазами и с прочерком вместо отчества. Граждане, конечно, возмутились: кто говорил «нищих плодить», кто – «не имеет права», кто – «зачем только живут такие», а девочка, тонкая поросль в дремучем бору, по врождённому своему счастью ничего этого не могла слышать, всем улыбалась и благополучно росла целую пятилетку.

К тому времени Вася окончил институт, прибыл по распределению и успел прописаться в местном листке статьями: «Рекорды по плечу каждому», «Почему бездействуют фонтаны?» и «За работу, товарищи!» Статьи областному начальству очень понравились и о Васе сразу же заговорили, какой он, дескать, молодой и растущий. Тут ещё подоспела борьба с пьянством до того отчаянная, что не на жизнь, а на смерть. И чего только ни делали! На водку цены под-

нимали, алкоголиков по телевидению вместо кинокомедий показывали, административно их выселяли, высылали, принудляли... Словом, шуму было, как на ярмарке.

Под этот шум и угаздило Васю написать статью «Таким пощады нет», где он пропесочил по первое число лёгкое нюркино поведение и все её пьянки-гулянки, от которых девочка бесперечь страдала и не имела правильных понятий о природе и обществе. Может, оно бы и ничего, если бы на том дело кончилось. Но собрали комиссию, изучили беспощадную статью и силой отрешили незабудку-замарашку от матери из полуподвала в общий светлый дом, где и без неё было полно грустных детей. Оно и опять-таки, возможно, обошлось бы, да девочка в приюте занедужила и померла, одни говорят – от тоски, другие – от простуды, хотя наверняка никто не знает, а впрочем, скорей всего, от простуды, потому что вряд ли какое дитё будет по такой грязнухе и пьянице, как Нюрка, тосковать. Дело, в общем, тёмное, только с того дня не стало Васе от Нюрки проходу, и ни в одной перебранке не минует она своих обвинений:

– Ты пошто, иродова душа, реблёнка снистожил безвинно?

– Нужен мне твой реблёнок, – отвечает Вася, – как знаешь что? Сказал бы, да людей совестно.

Врёт Вася, на публику работает, на симпатию бьёт. Никого ему не совестно, все об этом знают, оттого и побаиваются с оговоркой: двое дерутся, третий не мешай. А всё ж таки смотрят, потому что любопытно это, куда интересней, чем какой-нибудь хоккей или даже бокс, где всё подстроено да и то – до первой лишь крови.

– Снистожил, снистожил! – радостно грозит Нюрка перстом. – Золотиночку мою болезную сгубил, говорю, ангельскую душу, кандей...

– Алкашка, сходи проспись, – советует ей Вася и смеётся, а зубы у него ядрёные и десны розовые.

В голове у Нюрки кружная карусель, и мысли одна с другой наперегонки прыгают. Оскалившись выспры, она забывает о золотиночке и вгрызается в ближайший предмет, как цепной пёс в палку.

– Пьяный проспится, дурак – никогда!

– От дуры слышу!

– Сволочь!

– От сволочи слышу!

– Паскуда!

– От паскуды слышу!

– Гад полосатый!

– От гадюки слышу!

Язык у Васи – оселок бритвы править, никому спуску не даст. Его за это соседи страсть как не любят. Он их тоже, потому что сплошь одни гегемоны, как рабочих в редакции называют, пьют не меньше Нюрки, в целом доме ни одной семьи порядочной, пойти не к кому. Вася с ними сосуществует – он их боится, они его, а кто кого пуще, неизвестно, потому что каждый сам себе умён соображать: дети, семья, работа, то-сё... Но Васю бояться больше, – бессовестный он, говорят. Конечно, тут много кой-чего можно в ответ насказать: что, мол, за беда? подумай, совесть! соседка соседку вона по два раза на дню этим честит и – ничего. Да это всё не то. О Васе, что он бессовестный, передают шепотком и рукой закрываются, чтобы ветром не разнесло, только краем уха и зацепишь: – «Ужась! Ужась!» В любой сваре поэтому гегемоны поощряют Нюрку, а не его, хоть и анонимно, когда голос в хоре тонет.

– Нюрка, не сдавайсь!

– Надрай ему холку, кандею базлатому!

– Промежду рог звездани!

– Наждачком его, Нюра!

– Ты ему прессу зачитай, прессу!

– Таким пощады нет!

– Маральную основу разлитого сицилитического опчества...

Нюрке поддакивают. Нюрку направляют. Нюрке напоминают заголовок и даже запев чёрт-те-когдашней статьи, которую она привыкла исполнять под балконами, как серенаду, и все жильцы давно выучили. Она уже старая, Нюрка, и с причудами, к тому же верующая, хотя об этом мало кто знает, а сейчас это и вовсе не к месту, не будь нужда сказать, что газетную Васину бяку она помнит так же назубок, как «Отче наш», и в подсказках надобность имеет не больше, чем актёр в бисировании. Она суетится, ставит потвёрже ноги, чистит харканьем гортань, сплёвывает в лопухи, вытирает подолом набрякшее лицо и, вдохнув нового воздуха, будто в воду прыгать собралась, приступает к декламации. Потеха с ней!

Длиннющие периоды, на которых Вася собаку съел, она выдаёт до того без запинки, словно в одночасье институт кончала с отличием; вымороченная наукоподобная заумь и неудобосказуемая чертовщина, которыми наши газеты в особенности отличаются, летят из её корявого рта, как гуси-лебеди; цитаты великих нюркиных современников о народе и законе звучат слово в слово и так убеждают, что и сомневаться не надо, кто над кем и кто для кого: закон для людей или же наоборот. Само собой, читка газеты вслух да ещё в который раз не оказывала бы на публику циркового воздействия, если бы Нюрка сугубо и трегубо не сдабривала текст замечаниями, телодвижением и словотворчеством.

За искренность её замечаний можно поручиться, но привести их чёрным по белому значило бы потерять репутацию и кое-что ещё в глазах людей и учреждений, к которым нюркины комментарии относятся, как шрапнель к искусству. Жесты у неё – точь-в-точь она сама, такие раздёрганные и нелепые, что и театр абсурда не мог бы придумать ничего экстравагантней. Что до слов, то они у Нюрки непохожие, потому что зубов не хватает, и говорит она, будто горячей каши в рот напихала, а гегемоны такой народ, лишь бы посмеяться. А отчего смеются, поди, узнай. Если оттого, что у косноязыких старые слова новыми понятиями обрастают, так есть ещё хуже Нюрки говорят и никто над ними не смеётся, – «Нельзя, – говорят, – над начальством». Вообще-то, гегемоны люди не злые, только робкие очень и со всех сторон затурканные. К Нюрке они – вполне, и речь её им гораздо ближе, чем какая-то официальная «Доколе, Катилина?»

Вася изо всех один, кому этот спектакль – нож острый. Давние свои статьи он любит наедине почитать и держит полное собрание публикаций, но не любит, когда их другие трогают, особенно Нюрка, а она публично похабит Васину мысль и оскорбляет не только его, но и маму-мантулечку, которая далеко отсюда и ни при чём. Понять Васины страдания можно, если достать газетку постарее, лет этак за двадцать-тридцать, словом, чем старее, тем понятней будет. Каково читать, – кто пробовал? То-то. В своё время не сразу было доглядеться, что там. Вроде что-то большое, громоздкое, ни глазом окинуть, ни смыслом объять, а поодаль времени – ах, чтоб тебя разняло! – пустое несли, братцы, луну ругали, комара миром треножили, свет охапками в подпол таскали, спотыкались на ровном месте. Вот и не выдают прежних газет на руки, «потому что незачем, – русским языком вам говорят». Вася хоть и новой породы, и стыд к нему не пристаёт, а всё же неуютное у него самочувствие. Со стороны видать, как его корчит престижная лихорадка, и выглядит он, ни больше ни меньше, – раненый гладиатор, умоляющий о пощаде.

– Что возьмёшь с дуры с малохольной! – обращается он за милостью к ближайшему балкону и, не дождавись, шлёпает рукой по ляжке.

Коммунальный Колизей угрюмо сопит и для полноты сходства здесь не хватает лишь больших пальцев, указующих вниз, да возгласов: «Добей его, Нюрка!» При виде огульной жестокости у кого сердце не дрогнет? Поневоле забывается, что Вася лишён чувства стыда, и мнится, будто он такой как все: не выдержит и уйдёт в дом переживать, каяться, страдать всячески, ужин от себя отвергнет, ночью век не смежит, возможно, даже расплатится под оде-

ялом, а Галя, терзаясь вместе с ним, станет шептать утешения и разглаживать его линияльные вихры. Право, не грех возомнить, только Вася сам же не даёт.

– Тварь худая! – кричит он Нюрке. – Свинья неумытая! Пьянюга! Я вот тебя, голодранка, в милицию сдам, будешь знать!

Опять врёт Вася. Ни в какую милицию он её не сдаст. Да милиция и сама не захочет с ней связываться, потому что ей от нюркиных задержаний никакого перевыполнения, одни убытки. Денег у неё ни копейки, трудовой книжки нету, пенсия не положена, штраф взыскать неоткуда. Нюрка, правда, не побирается, сама себе на хлеб и вино зарабатывает. Состоит она при деле у Сони-сукотницы, что в продмаге вином торгует, а стаканов для распива не даёт и посуду обратно не принимает: «Тары, – говорит, – на вас, бухарей, не настачишься, во двор марш!» Во дворе за углом Нюрка с гранёными стаканами, как по заказу. Она бухарикам – стаканы, а они ей за это каких только бутылок не понаоставляют: и портвейн, и билэ мицнэ, и вермут, и даже такие, где по-заграничному «когнак» написано. К закрытию Соня посуду приберёт и выдаст Нюрке пол-литра забористого суслу да банку овощных консервов. А ей этого ещё как вдосталь: глоток-два-три и давай по тротуару горло драть.

Гуляй, гуляй, эх, наслаждайся,  
Пока с больницы выйду я,  
А потом остерегайся,  
Залью карболкою глаза.

Песни у Нюрки, конечно, чуждые, так ведь не для эстрады, – для себя человек поёт, а голос она пропила, и он у неё негромкий, гнусавый и какой-то с ворсом, вроде шерстяной. Милиционеры знают её как свою, лишь улыбаются встречь да спросят иной раз по-хорошему: «Что, Нюра, уже настобалась?» Если же её когда редко-редко заберут, то к авансу или к получке обязательно выпустят, потому что гегемоны по этим дням пьют наповал, а милиция, хоть про неё и пишут, будто она общественными интересами сыта, однако бражнику при деньгах туда лучше не попадать, – обчистят. Вася же против милиции пока ещё мелко плавал и невелик в чинах распорядиться, кого забирать, кого оставить.

– Слышь, кандей, а кандей? – спрашивает внезапно присмирившая Нюрка. – Ну, не мне, так Богу ответь: неуж тебе моёй зареньки несмыслёной не жалко? Ма-аленичка она, кандей, несча-астненька... Не може того быть, чтоб не жалко. А, журналист? У тебя ж своих двое...

Будь Вася как все, он сразу же бы ответил: «Нашла, о чём толковать, Нюрка! Ясно – жаль, даром что я твою девчонку в глаза не видал. Пойми меня, как зверь зверя: мне приказали, я написал – и всё. Не напиши я, другой бы написал или третий, а мне бы только хуже было. А кто сам себе враг? Спроси у людей». И ушла бы Нюрка, только бы её и видели, и не стала бы приходить, смекнув, что Вася – сволочь, но не больше других. Жаль, что Вася не такой, как все, а современный. Сперва он обращается к зрителям:

– Вот же, бестолочь, привязалась. Ты ей про Фому, она про Ерёму. Что с ней будешь...  
Потом к Нюрке:

– Идиотка! Катись ты, знаешь куда? Кретинка! Я её знать не знаю и знать не хочу, маленничкой твоей, – понятно? Жалеть ещё буду, – ё-кэ-лэ-мэ-нэ! – чего захотела. Дура ненормальная, виноватых ищет. Пьянствовать не надо было.

– Ага, – соображает Нюрка. – Не жаль, знать. Ах, ты...

Она собирает лицо в кучу, жуёт задумчиво губами и, уморительно подпрыгнув, посылает Васе смачный плевок.

– Тьфу!

Доплюнуть с земли до третьего этажа никому в истории материальной культуры не удавалось, а Нюрке и подавно. Всё это – просто так, видимость, угроза без исполнения, да и сил у неё

еле-еле через губу переплюнуть. Но Вася только этого и ждал. С быстротой молнии выхватывает он из-за спины оранжевую штуковину, которая оказывается клизмой-спринцовкой ёмкостью в литр, и поражает обидчицу непрерывной, упругой струёй. Нюрка ловчит, финтит, мнёт бурьян, цепляясь за чахлое деревце, но струя сверкает на солнце, как нержавейка, и бьёт без промаха, так что весь почти литр уходит на нюркино орошение от макушки до колен. После купания она делается ещё несчастней, а Вася – выше ростом, и на лице у него застывает придурковатое выражение оболтуса, который только что попал камнем в котла на заборе.

– Схватила? – ликует он сверху. – Ну, и как? Что теперь скажешь хорошенького? Не сладко? Га-га-га! Ничего! Лучше расти будешь на урожай... Тварь чумовая! Думает, это ей задаром обойдётся. На всякое ядие есть противоядие, – понятно? погоди, я тебе, ё-кэ-лэ-мэ-нэ, ещё не то устрою, будешь знать.

Врёт. Больше, чем устроено, ничего он ей не устроит, – это гвоздь его программы из раза в раз. Нюрка тоже балда порядочная, – знает и оберечься не может. Впрочем, чихать ей на всех, – что на Васю, что на клизму, что на свидетелей, – мокрое летом быстро сохнет, и грязь отшелушится, как на собаке.

Момент исключительно детский и трудно о нём сказать проще и ясней, чем гласят афиши кукольного театра: «Дети, для вас!», потому что он, действительно, для них. Какая возня поднимается на балконах! Сколько неподдельного торжества, альтовых восторгов и несовершенной радости! Визг стоит, когда Вася Нюрку поливает, – подумаешь, детишки сами в бассейне плещутся. А на взрослых лицах самодовольства и гордости – сердце поёт глядеть и слеза прошибает. Плохо только, что папы с мамами не понимают, как детям недостаёт сейчас маленьких цветных клизмочек, чтобы поиграть вместе с Васей. А может и понимают, да не по карману игрушка.

Гегемоны бедно живут. Вася пишет в газетке, что жизнь у них – умирать не надо, но это не так, стоит лишь заглянуть. Вот у одних на довоенном комодке олень-копилка медяки складывать и нога отломана, чтобы тут же и вынуть. У других, вроде бы, всё есть: машина в боксе, мебель, книги, телевизор, даже картина в полстены, – сисястая наядя прёт кролем через озеро и пупочек видать. У третьих наволочка с золотыми попугаями, ни разу не надёванная с того дня, как покойный хозяин привёз её после победы из чужих краёв. «Всё как-то случая не было, – горюет вдова. – Ждали, ждали, а его так и не было». Отчего бы это? Тридцать с лишком лет минуло, дети переженились, муж помер, внук в тюрьме сидит, а случая, достойного трофейных попугаев, всё нет и нет. А то ещё и так живут: комната, две табуретки и бежевое фортепьяно. Хозяйка на него не надышится: и пропить не враз пропьёшь, и украсть трудно, и вообще, вещь сама за себя скажет, когда дочери шлёпнут по клавишам в четыре руки.

Мамочка родная, сердце разбитое,  
Вадик не хочет любить.  
Брось, моя Зиночка, брось, не грусти,  
Вадик не хочет, другого найди.

Нужно ли ещё говорить о местных коллекционерах с их собраниями пробок, бутылок, банок, спичечных коробков и пачек из-под сигарет.

Но самая что ни есть голь перекатная – у Васи в кабинете на полках: полный комплект политических изданий за четверть века, близ которых аквариум с рыбками как-то не выглядит. Вася говорит, что другие книги сюда ставить нельзя, – авторы не уживаются. Это верно, что не уживаются. Вот и остаётся убожество с претензиями и скука смертная.

Лишь у Нюрки бедность без затей: всем понятна, никому не в зависть. Отжав край платья, она разглаживает на бёдрах мятую мокрець и приговаривает:

– Вот кандей, так кандей! Вот похмелил Нюрку, так похмелил! Ох, жисть поломатая! Вот так журналист! Вот так герой! Чем же мне, бедной, ублажать-то тебя? Благодарить-то чем, а, кандей? Ох, отдам всё! – Резво оборотившись к дому спиной с криком: – А это ты не хотел? – она задирает подол и нагибается, адресуя Васе те части тела, которые по допотопному ещё обычаю люди прятать норовят, почитая их строго фамильными. Все от мала до велика видят, что Нюрка, то ли по бедности, то ли по закоренелой порочной привычке, не только не носит штанов, но и нимало в таковых не нуждается. Этот достоверный факт веселит мужчин и смущает женщин, но не особо смущает, а так, в охотку.

– Получай сдачу! – отвечает Вася и, сноровисто приспустив широкие семейные трусы, садится на перила.

Какой эффект! Ухнула тяжёлая артиллерия и расколола небо. Сотряслась мать-сыра-земля перед светопреставлением. Звякнула посуда. Качнулись люстры. Стрелку зашкалило на четырёх баллах по Рихтеру. Взыла где-то комнатная моська с перепугу. Крупноблочное здание вздрогнуло и за малым не развалилось на составные панели... Вот оно, доказательство маловерам, отрицающим чудеса. А они, тем не менее, происходят, только их перестали замечать и чудо за чудо не принимают... Например, Вася. Куда до него Нюрке! Он и журналист, и общественник, и заводделом, и член редколлегии, и жена с редактором дружбу вертит, а задница у него – близко к нюркиной не поставит: широкая, плоская, белая, с неприличным румянцем на полюсах, шлёпни по ней доской плашмя, не сыграет доска, а влипнет, только эхо пойдёт. Словом, абсолютно диковинная задница. Нюрка – ноль, мелочь, ничтожество. Все взгляды теперь на Васю, весь смех ему, все слёзы ради него. А он, лауреат всеобщего внимания и слёзного смеха, поправляет, тем временем, трусы и обращается к Нюрке с речью:

– Эх, ты! Залила глаза! Докатилась! Люди над тобой смеются, – смотреть противно. Погоди, я про тебя ещё в «Правду» напишу. На весь Союз прогремишь!

И напишет. Не напечатают только. Хоть Вася и свой брат, а не напечатают. Нельзя. Слишком типично. То есть, типически. А мы не против типичного, мы против типического. И за благородство. А не за рядовую обыденщину. То есть, не за пошлость. То есть, за обыденщину, но не за пошлость, – так будет точней. А ещё точней, за благородную героиню нашей повседневности, против браконьеров, предрассудков и загрязнения среды, – вот.

– Кандей, а кандей! А ты у козы видал? – спрашивает Нюрка и беззубо хохочет. Ничем её не проймёшь, Нюрку, ни «Правдой», ни «Известиями», ни даже «Вышкой», – есть такая газета не то у милиционеров, не то у нефтяников, – ничего она уже не боится. Пока была у неё какая-то надежда, был и страх её потерять, а как надежда пропала, так и страх весь напрочь отшибло. У всех это одинаково, только постепенней, чем у Нюрки: сперва вера пропадает, потом концы с концами не сходятся, потом терпение лопается, а когда человек махнёт рукой и скажет: «А-а, была не была!» – какой тут страх? Гегемоны эту прогрессию лишь начинают осваивать, а Вася к ней ещё и не приступал, потому что растущий и надежд у него отсюда до Москвы, а может, и дальше. Он чувствует, что Нюрку бить ему больше нечем, пора играть отбой, да неохота за глупой бабой последнее слово оставлять.

– Посмеёшься ты у меня, ё-кэ-лэ-мэ-нэ! – грозит он ей пустой клизмой и, мелькнув носками, уходит, не раскланявшись с балконами. А Нюрка, сорвав ещё пару оваций, тоже выбирается на асфальт. Если следить за ней сверху, то кажется, там и асфальта нет никакого, одни только ухабы, рытвины и зигзаги. Песня у неё тоже ухабистая, с переборами:

– Теперь домой... я не пое-ду,  
Бо я семей-ство... за-ражу...

Она опять придёт. Скоро. И всё повторится, разве что у Васи вода будет с чернилами да какой-нибудь пострелёнок в Нюрку бумажкой запустит. И снова гегемоны выйдут чужую

драку смотреть. Они, правда, и без своих не обходятся. Пока Нюрки нет, в каждой квартире то погром, то гульба. Жены мужей винят, – пьют, мол, а мужья говорят, что пьют из-за скандалов. Поди, разберись, когда конца-краю не видно. Нюрка в таких случаях говорит: «Обое – рябое», – так оно, наверное, и есть. Отменить скандалы – мужья всё равно пить не перестанут. Мужья пить бросят – жены со скуки ещё пуще дебош поднимут. Это проверено: одно другого не ждёт, одно другому не мешает. А что мешает? Нюрка, к примеру, говорит, – «жисть поломатая». У всех она, что ли, «поломатая»? Почему? Кто виноват? Трудно сказать, кто. Говорят, общество в ответе за любой пустяк, что в его пределах творится. Если это верно, кому же тогда отвечать по суду грядущему за Васю, за Нюрку, за скудость нашу и дурь несусветную? С гегемонов спрос, как с гуся вода, они народ безответный. А начальство на покойников валит, которые до них жили-были, – это, дескать, они всё... А мертвецов судить древнеримское законодательство запрещает. Вот и приговор: всё само собой катится, всё без причины, у всех алиби.

Ну, хотя бы скандалы. Замужние знают, как их устраивать. Вначале надо ездить по столу чем-нибудь таким, чтобы «гррр! гррр!» получалось; затем опрокинуть что-либо тяжёлое и проворчать: «Вечно не по-людски» или «Мужика в доме нет»; не мешает также со стуком переставить стулья, расколотить тарелку, хлопнуть дверью, подмести черепки и осыпь штукатурки, облаять детей и, схватив молоток, вбивать гвоздь куда попало, неважно куда, – можно в подоконник, можно в пол, это не составляет, – важно только пришибить палец и уже с достаточным основанием вылить мужу на голову ведро чертей. Правда, это больше годится для людей труда и зарплаты и уж, конечно, не подходит для натур с тонкой организацией. В интеллигентной семье лучше всего протирать в такие минуты стекло мокрой тряпкой, пока оно, дрянь, стократ не проплачет: «Какскюмент ви-и-из! Какскюмент ви-и-из!» – это очень сближает. А ещё лучше укладкой вытереть помаду мужниным платком и сказать ему при случае: «Постой, постой... Что это у тебя?» Пока этот тюфяк будет ломать голову где, как и при каких обстоятельствах он оскормился, жене надо держать форс-мажор навзрыд и, по возможности, с истерикой, чтобы муж на ходу выдумал себе любовницу и чистосердечно во всём сознался. Комплекс вины после этого пропадает и воцаряется полное равноправие. Впрочем, это примеры уже более высокого порядка, а интеллигентов в доме, кроме Ипатовых, шаром покати, поэтому придётся брать, что есть.

Пустая, растительная, бестолковая наша жизнь! Я спрашивал у тамошних жён, зачем этот ералаш и кому какая от него выгода. «Чудак, – ласково они объясняли. – Ты ничего не понимаешь. У злых пчёл мёд слаще. Знаешь, как потом мириться приятно? А муж круг тебя так и захаживается: «Пчёлка, дай медку! Пчёлка, дай медку!» Ох, век бы так, до того хорошо-ночки». И обязательно показывали на Серёгу Веденея, который лупит жену почём зря на почве ревности, а, отлупив, любит без памяти. «Вот это, – говорят, – любовь! Вот это мужчина!» – «Ну, а потом что?» – «А что потом? – отвечают жены. – Потом, как всегда: поскубёмся, помиримся, опять поскубёмся. Всё веселей». – «Что ж тут весёлого? Чем в тесной обуви, так лучше босиком». – «А зимой? – возразила одна сообразительная. – Да ты что! Или хочешь, чтоб у меня, как у Васи? В гробу я видала жить так...»

У Ипатовых, действительно, ничего подобного, никогда. Ладно живут, образцово. Конечно, Васе далеко до романтического Серёги, да и Галя на злюку не похожа, потому что ленива от природы, а злость – чувство резвое, активное. Галя чернява и очень недурна собой, но описывать её по частям, значило бы на старинку сбиваться, а время такое, что недосуг, и о красивой женщине эксперты теперь судят кратко, говоря: «Всё при ней». Красотки чаще всего ленивы. Гляньте, хотя бы, на Венеру Безрукую и угадайте, сколько в ней чего. Тут и лень-матушка, и безделье, и готовность выпить-закусить, и презрение к домохозяйству, и долог день до вечера, и прочее. А как ухожены формы, прежде чем Фидий на них свой глаз основал, а? Вот какие женщины нам нравятся! Нет, ребята, это вам не «эх, Дуня, Дуня, я, комсомолочка моя» из силикатного цеха с репнутыми пятками и заскорюзлыми ладонями, а совсем, совсем

другая. Так что не время об эмансипации. И о правах тоже не надо. Уж лучше о красотах, – так оно честней.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.